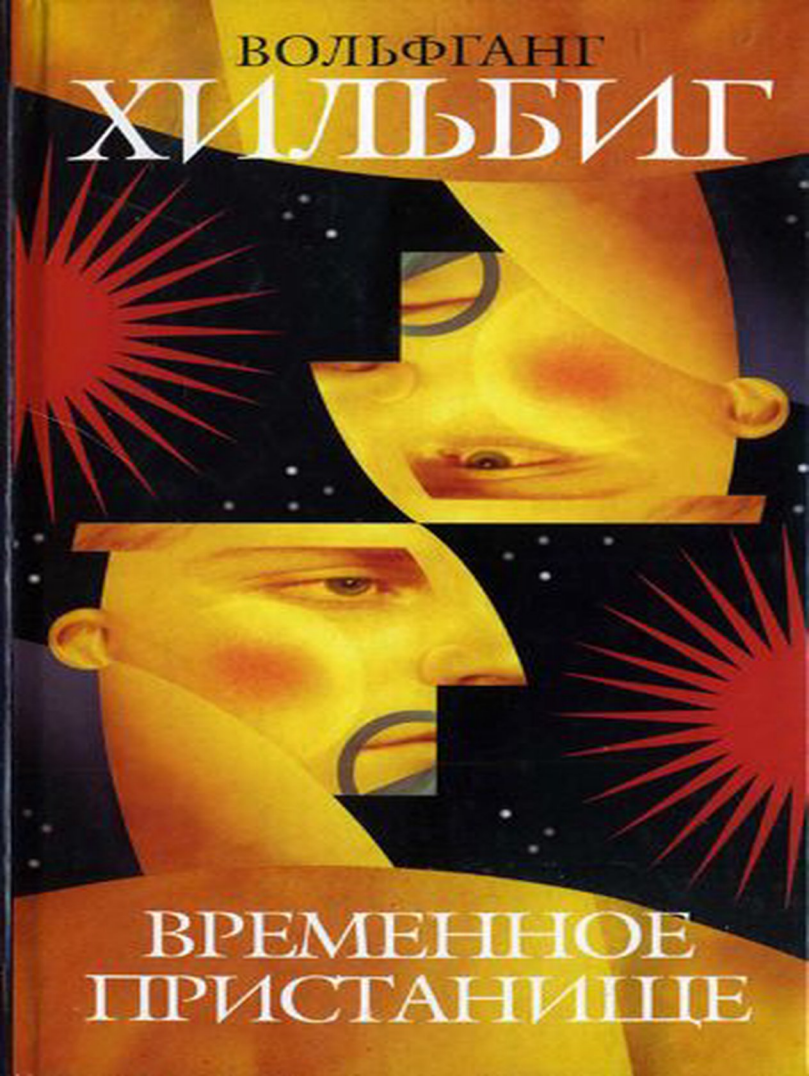
ВОЛЬФГАНГ

ХИЛЬБИГ



ВРЕМЕННОЕ ПРИСТАНИЩЕ

Временное пристанище
Вольфганг Хильбиг

Аннотация
Вольфганг Хильбиг. Временное пристанище

Аннотация

Герой известного романа Вольфганга Хильбига «Временное пристанище», подобно героям Кафки, постоянно чувствует присутствие неведомой силы в своей жизни. Эта сила зорко следит за ним и направляет его действия. Запертый в некоем промежуточном пространстве, промежуточном состоянии, герой мечется между двумя городами, двумя возлюбленными, пока окончательно не перестает понимать, кто или что движет им…

Вольфганг Хильбиг
Временное пристанище

Ради того, чтобы писать свои книги, я пожертвовал своей биографией, своей личностью. Дело в том, что уже с ранних пор мне казалось, будто жизнь мою ставят на сцене, чтобы мне со всех сторон ее видеть. Это примирило меня с несчастием и научило воспринимать себя как объект.

Август Стриндберг. Черные знамена

Я бреду во мраке.
Но меня ведет благоухание дрока.

Николас Гомес. Давила

* * *

В Нюрнберге, в раздвоенной подсветке *бутика,* с ним произошел случай: когда он спускался по плоским вытянутым ступеням в полуподвальный этаж, следуя за изгибом сужающейся наподобие винтовой лестницы — неслышным и неритмичным шагом ступал на раздражающие, разной длины ковровые ступени, он вдруг ощутил, что на него сейчас нападут сзади. Тусклая тень обогнала его, он предугадал вознесенную руку — может, вооруженную, а может, и нет — и с быстротой мысли крутанулся на каблуках. В

следующий миг он поразился тому, как безотказно до сих пор действуют все его инстинкты. Левая, автоматически взлетев от бедра наперерез угрожающе занесенной руке, кроссом ударила в подбородок, которого он даже толком не разглядел. Этого, верно, хватило бы, но он тут же провел удар в корпус правой, с опорой на полусогнутые, ощутил роговую пуговицу небрежно застегнутого пиджака (куда он и метил), рука по инерции скользнула вдоль тела противника вверх, пуговица отлетела, пиджак распахнулся — апперкот вырубил нападавшего. Перекачнувшись снова на обе ноги, — вторым кроссом слева еще раз достал непокрытую голову. С типом было покончено, он посыпался на куски.

Скрипнув, малый упал на перила, сложился было над ними пополам, затем откинулся, с грохотом сел на ступени и, прежде чем распластаться на животе, произвел весьма неизящный кувырок по лестнице, попутно свалив торшер, который тут же погас. В полумраке было видно, как фигура роняет из рукавов пиджака обломки переломанных членов; лицо, вывернутое на затылок, укоризненно скалилось. Снизу, из торгового зала бутика, раздался пронзительный разноголосый визг; отряхнувшись от гипсовой

пыли, Ц. перешагнул через сломанный манекен, вроде бы на него нападавший, и, не обращая внимания на суматоху сзади, ретировался; ускоренным, но размеренным шагом он вышел на яркое солнце Брайте-Гассе. Покачал головой и нервно огляделся, чувствуя, как ни странно, что-то вроде подспудных уколов совести: сомнений нет — контратака была чересчур интенсивной, хватило бы, наверное, и половины дублета.

Вот и весь случай: обыденный вечер, все ведет себя очень обыденно, Брайте-Гассе охвачена будничной толчеей, в которую можно неприметно нырнуть. Сейчас, когда до закрытия магазинов остались считанные часы, напор был особенно сильным; нет никого, кто неспешно плыл бы вдоль сверкающей череды витрин, — все проявляют резвость и рьяность; все несут на челе убежденность, что служат самому правому делу на свете — шопингу. Внизу, по краю улицы, пересекающей Брайте-Гассе, — неугомонная вереница такси: стоит машине притормозить, как на заднее сиденье или в багажник тут же летят туго набитые пластиковые пакеты, такси одно за другим заполняются и одно за другим ускользают, мягко, игриво, освобождая место напирающим сзади, такси урчат к центру или в

окраинные районы, где принимают новых, еще ненасытившихся покупателей, чтобы доставить их к пешеходной зоне. Так оно все и сновало туда и сюда, в вечном круговороте купли-продажи, как однажды сказал президент то ли банка, то ли страны, консервативный и гибкий в куплепродажности одной из своих речей; и трамваи, подъезжая к вокзалу, открывали двери, извергая потоки людей, которые вмиг разбегались по пешеходной зоне. А под асфальтом неслись поезда метро; под командные голоса динамиков они выпускали на волю новые сонмища покупателей, отсылая толпу на тесные эскалаторы, выносящие ее прямиком в светозарность торговых улиц. И довольные там смешивались с недовольными и перемешивались заново; обманутые объединялись с необманутыми и, счастливые, обнимали своих обманщиков, когда входили в бутики, шопы, драгсторы и галереи, и покупали, и платили, и снова платили, подмахнув чек окрыленной рукой. И когда они вновь выходили на Брайте-Гассе, то светились, осиянные блеском своей ликвидности, и каждый из них был достаточно великолепен и значим, чтобы нести в своем сердце благоволение Господа. Так ходили они туда и сюда, и над ними грудилось башенье ближних

соборов…

Тем временем Ц., весь потный, сидел в тени тента, растянутого над столиками перед входом в кондитерскую, и пытался неторопливо пить тепловатый кофе; заказанный к кофе стакан воды был опрокинут в один присест.

Вот бы где хватило народу! — обиженно думал он, глядя на копошение толпы. Персонажей хоть отбавляй, на толстенный роман наберется. Даже критика осталась бы довольна — литературная критика, которая с благословенной поры почтовых карет все подсчитывает «носителей действия» в повествовательных произведениях. Личностей, личностей, личностей! Вечно одна и та же песня. Но мне-то какой резон играть в эти игры… тут самому бы как-нибудь исхитриться снова стать личностью. А в сражении с критикой я спасовал еще до его начала. — То была одна из довольно пустопорожних речей, что вошли у него в привычку, когда, оставаясь наедине с собой, он принимался делиться мыслями (в основном о литературе) с неким призрачным визави; нередко в те минуты, когда хотелось передохнуть после пережитых волнений.

В каком-то неясном направлении, куда он взглянул по случайности, где-то над высокими

крышами зданий по левую руку от вокзала, солнце спряталось в нависшую над городом пелену; в дымке оно еще раз, будто из последних сил, зажгло свое зарево, и раскаленный цвет словно излился косыми лучами на улицу. Наступил вечер. Повсеместная хлопотливость выказывала первые признаки усталости. В пока еще плотно сомкнутой стене автомобилей вдоль тротуара возникали зияния, которые более не заполнялись, людской ток по направлению к пешеходной зоне стал иссякать, зато все больше людей устремлялось в обратную сторону. За столиками перед кондитерской вдруг появились свободные места, и посуду уносили уже не столь расторопно — основной наплыв посетителей схлынул. Молодая пара, сидевшая с ним за одним столом, вдруг устремилась прочь, как будто в их головах звякнул сигнальный звоночек. Прежде они со злобными лицами уминали глыбы клубничного торта со сливками; больше трети оставили на тарелках, не преминув хорошенько размять и раскрошить вилочками остатки, чтобы предотвратить вторичное их использование. Решили, что он голодающий? Пока они набивали желудки тортом, Ц. смотрел на них как зачарованный. Ошибаетесь, его глаза блестели от жажды! При-

чиной же скоропалительного отбытия пары было разочарование: на часах полседьмого, а значит, пора покидать торговый квартал. Перед входами в универмаги стояли мужи с ключами, отпирая стеклянные двери последним клиентам, припозднившимся в лабиринте товаров; разрумянившиеся, те выходили на волю — все кончено! Вечер пуст, бесконечна грядущая ночь. Тягуча и томительна подступающая темнота, граничащая с небытием, и неизвестен ответ на вопрос, удастся ли завтра прошвырнуться по магазинам. Чего доброго, сомкнутся во мгле над городом полотнища туч — о, непредсказуемый сентябрь! Солнце окрасило дымку ядовитым красно-желтым отваром, вечерний зной не в силах более выжечь запахи городских закоулков. И вот они, осмелев, потянулись наверх: неизъяснимая вонь прогорклых жиров поднималась из сточных канав, оседая мылистым потом на плетеном узоре пластиковых скатертей перед кофейней. В тепле малиново-красная желейная масса на остатках клубничного торта подтаяла, и в лужицах на тарелках барахтались осы, привлеченные в ловушку цвета и аромата. Кафе, конечно, работало до двадцати ноль-ноль, но этот мужчина, который остался за столиком в одино-

честве и вот уже битый час сидел над полупустой чашкой кофе (по светло-бурой поверхности плавает желтый глазочек жира, не растворившийся после того, как молоко размешали), мужчина, не пожелавший более ничего заказать, давно ловил на себе косые взгляды обслуги, состоявшей из блондинки и брюнетки неопределенного возраста. О чем думает этот мужчина, явно прибывший сюда, на периферию торгового квартала, без машины? Впрочем, ему и перевозить-то нечего: вся добыча состоит лишь из тощего, квадратной формы, содержимого пластикового пакета, размером сантиметров тридцать на тридцать. По всей вероятности, приобрел одну-единственную пластинку, а здесь, за столиком, заказал один-единственный кофе плюс минералку и сразу, как только его обслужили, расплатился. На чай — ни пфеннига. К какому-либо разряду его не причислишь, но, судя по выговору, мужчина не нюрнбержец. Скорей из восточных земель; но поди доберись сюда из восточных земель, нет, что-то не складывалось в картинке. Его манера нимало не походила и на повадки троих пивохлебов, расположившихся за отдаленным столиком у обочины и небрежно швырнувших на скатерть ключи от автомобилей. Трое парней, уже не

юнцов, и ключа тоже три, на каждом — логотип автомобильной марки и брелок с золотистым или серебряным блеском. Со скучающим видом они поигрывают звякающим металлом, недешевого свойства, энергично крутят брелоки на пальцах. На всех троих пестрые рубахи из набивной ткани, расстегнутые чуть ли не до пупа; видны курчавые волосы, у кого посветлее, у кого потемнее, и загорелая кожа — парни пекутся о собственном теле. Короткие рукава облегают мускулистые плечи и бицепсы; двое щеголяют разноцветными татуировками, на руках у каждого золотые часы и золотые цепи тонкой работы, в волосах на груди тоже мерцает золото. Они подливают пиво, держа бутылку тремя пальцами, — цепи блестят в лучах вечернего солнца, — внимательно смотрят за тем, чтобы пена не переливалась через край… Ц. ощутил жажду, пока глядел, как они пьют; они пили выверено и рассчитано, подобная манера пить означает «за все заплачено»; Ц. отродясь не умел так пить; парни его не замечают, знают, что барышни наблюдают за ними с надлежащей серьезностью… и продолжают беседовать: вежливо и в то же время чуть свысока. Говорит без умолку только один, двое внимают и, словно по негласной договоренности, отхлебывают из бокалов.

Тот, что без татуировок, — Ц. видно его лицо, — глотнув, тщательно вытирает пену с пышных усов, после чего подкручивает заостренные кончики, очень четко и якобы отрешенно; удлиненные, загнутые кверху стрелки колышутся на коротковатой верхней губе, когда приходит его черед говорить, и Ц. завороженным взглядом следит за их колыханием; летящим коршуном усы исчезают вдали. Плавно покачиваясь, официантки пускают бедра скользить между неубранных столиков. Составляют все на подносы, выметают крошки из узорчатых переплетений, временами исчезают в недрах кафе. Объедки так и стоят перед Ц.; ощущая себя свободным от всякой опеки, он думает: «Кончено…»

«Кончено! — повторяет он, и это уже похоже на отголосок из сна. — Кончено, поздно проситься назад. Через минуту-другую я исчезну в каком-нибудь направлении. Что-то сломалось, что-то сместилось. Может, вдруг открою глаза и увижу, что это было…»

Он в Нюрнберге, и это до сих не укладывалось в сознании. Вообще-то он не отсюда, но сейчас в Нюрнберге — городе, где молодцеватый мерзавец известного сорта щеголяет усами, скопированными с вильгельмовских. Нюрнберг — город

реминисценций, город подделок; чтобы расширить ассортимент бутиков, здесь как будто растиражирован каждый гран человеческого существа.

Стало быть, он в городе, где можно исчезнуть бесследно. Исчезая назад и направо, по направлению к старому центру, он вскоре опять пересек пешеходную зону, теперь почти опустевшую, и очутился у так называемого Бургберга, отсюда дорожки отвесно ведут наверх. Любая прогулка становится здесь нелегким подъемом; маловат объем легких, а ведь когда-то они принадлежали спортсмену. Впрочем, это осталось в другой его жизни. В предзакатный час бабьего лета на свободных площадках у крепостной стены раскинули свой бивак те, кого именуют «туристами-рюкзачниками», и вместе с ними внушительный батальон той нюрнбергской молодежи, что мыслит себя небуржуазной. Казалось — должно было казаться, — будто на грубо мощенных площадках расположилась целая армия перебежчиков и дезертиров; войско млело в последних лучах заходящего солнца. Любители альтернативного стиля полагали, что то короткое время, пока не стемнело, они сопротивляются здесь потребительскому угару, только-только улегшемуся уровнем ниже,

на не столь утомительной для подъема ступени города. Среди скопления попивавших вино и пиво людей кто-то затренькал на гитаре и, похоже, привлек внимание окружающих. Даже добился того, что Ц. замедлил шаги… Что он нашел в этом показном концерте? Да ничего особенного, только припомнил пластинку, которую сразу же поставит дома.

Среди тех, кто здесь сидел, лежал и прогуливался, были и другие — те, кто пришел сюда с ознакомительной целью, однако Ц. не относился и к их числу. Это были получше и подороже одетые люди, во всяком случае те, кто уже не чувствует своим долгом облекаться соответственно социальному статусу в джинсу и потертую кожу (а может, им сегодня не захотелось влезать в тиски этих идейно зауженных размеров прет-а-порте), кто совершил закупки к полному своему удовольствию и уже отволок добычу домой. И, выпрямив спины, они шагали по Бургбергу, источая всеми порами толерантность и, разумеется, сами на нее претендуя. И получали ее в виде полнейшего пренебрежения. Так вышагивали они, с вознесенной главой, сквозь дымок жареных сосисок, что на подушке пивных паров плыл на уровне носа, струясь вокруг крепостной горы.

Все киоски вокруг были открыты, и продавец не напрасно ждал своего покупателя этим жарким вечером позднего лета. Ц. хотелось домой, поставить пластинку, он неустанно твердил себе это. А застревать у пивного ларька ему *не* хотелось. Он не причастен здесь ни к одним, ни к другим — ни к тем, кто полеживает на площадках, ни к тем, кто похаживает вокруг, пялясь во все глаза. Что ему эта свобода? Сам он куда свободнее. Он невольник своей свободы: ни на той стороне мира, на которой лежат и фланируют по Бургбергу, ни на другой, где томятся желанием полежать здесь, — ему нет места…

Сейчас он двигался торопливо, отмеряя глазом кратчайший путь между сидящими группами; замедлил шаги только раз: по булыжнику с громким звяканьем катилась пустая бутылка из-под вина. Наконец кто-то подставил ногу. Пластинка била по левому бедру; перекинув пластмассовые ручки через запястье, он засунул руку в карман; свободной рукой он держал сигарету и курил, что хорошо сочеталось с целеустремленным выражением лица. Спустившись с Бургберга, он вынужден был признаться, что сильнейшая жажда победила все ощущения. Несколько раз приостанавливался у ресторанчиков, двери

которых были открыты настежь (верно, чтобы впустить вечерней прохлады). Принуждал себя двигаться дальше, пока наконец не нашел такси, в которое и сел.

Таксисту пришлось везти его самую малость — вот уже и приехали. Вспомнилось (времени-то прошло изрядно), как какое-то время, начисто лишенный пространственной ориентации, он чуть ли не каждый вечер добирался домой на такси. И как частенько бывало, что таксист, ухмыльнувшись, огибал два угла и, миновав небольшой проезд, через минуту подруливал к дому. Вероятно, он и без немыслимых доз алкоголя, которые выпивал, был бы лишен всякой ориентации: в западногерманских городах он плутал. Очень долго не мог освоиться в Нюрнберге, как и за несколько месяцев до того — в Ханау под Франкфуртом, хотя городишко был невелик и казался расчерченным по линейке. На западных улицах никогда не бывало темно, к тому же их затоплял инфляционный поток письменных знаков, эмблем, пиктограмм и прочей символики; опорных точек из этого изобилия не позаимствуешь и в памяти не удержишь. На рынке опорных точек царила инфляция, любая опора была верна и в то же время фальшива; письменность, повернувши

свое развитие вспять, вновь становилась безалфавитной.

Он и поныне толком не ориентируется в Нюрнберге… а ведь пора бы уже разобраться. Следовало ожидать, что однажды придется справляться здесь самому. Но ожидать-то он ожидал, а все каждый раз оставалось по-старому… Он и во времени не ориентируется, потерял счет времени. Впрочем, это уже не суть важно, он здесь, что не подлежит сомнению; к тому же он здесь в настоящем времени — с каждым днем настоящем по-новому, — придется его осилить. Когда кто-нибудь спрашивал, он отвечал, что прошел почти год… и сразу же приходило в голову, что, пожалуй, уже целых два… если не больше… он словно противился пробуждению, не желал добиваться ясности в вопросе о том, сколько лет он уже в Нюрнберге. Сколько лет его жизни уже утекло в этом городе. Он все держал в голове тот первый год… и полагал возможным, что и после трех в голове ничего не отложится, а может, и после пяти.

Так было с самого начала, он и прибыл сюда уже в беспамятстве, месяцами скрывал ото всех, что переехал в Нюрнберг. И как бы для отвода глаз держал за собой, в придачу к нюрнбергской,

крохотную ханаускую квартирку, большая часть почты еще не один месяц шла на ханауский адрес, а после (по договору) пересылалась дальше. Он прибыл сюда словно под гипнозом. В состояние гипноза его повергали мысли, они все кружились вокруг образа женщины. Кружились вокруг ее образа, вокруг ее облика, но сделать ее своей, реальной так и не удалось. Ему это ни с одной еще не удалось.

Когда стало уже невозможно утаивать перемену места, Ц. промямлил в трубку что-то про недорогую квартиру, причем даже врать не пришлось.

— Но квартира в Ханау тоже недорогая, — сказал женский голос на том конце провода. — Даже намного дешевле.

Ц. прекрасно расслышал в голосе глуховатый призвук, назревавшее напряжение грозило в любую минуту сорваться на крик.

— Нюрнбергскую квартиру мне предложили, — объяснил он, — а раз предложили, то как откажешься. И потом, Ханау похож на Лейпциг гораздо больше, чем того хотелось…

— Значит, тебе никогда не нравилось в Лейпциге, — огорченно сказал голос — Тебе, наверное, и у меня никогда не нравилось.

— Глупости, — сказал он. — Ты же не Лейпциг, ты просто живешь там.

— А если Лейпциг тебе не нравится, значит, ты не вернешься.

— Твои вечные страхи.

— Кстати, квартиру в Ханау тебе тоже предложили. Разве такое бывает? Разве ты захочешь вернуться, если тебе одну за другой предлагают квартиры.

Ц. с ужасом слышал, как в голосе нарастает рыдание. Пытаясь растворить его в глупой шутке, он сказал:

— Да у меня тут, понимаешь, завелись кой-какие благодетели. Подыскать мне что-нибудь на год — это им ничего не стоит. Но через год дело примет серьезный оборот, и моя позиция тебе известна…

— Ты хотел сказать — благодетельница! Ты хочешь мне сообщить, что через год, когда дело может принять серьезный оборот, ты намерен с ней расстаться…

Что за ахинею он нес! Конечно, это вранье: никто ему никакой квартиры в Нюрнберге не предлагал; поиск жилья показался, помнится, мукой адовой. Он только затем это ляпнул, чтобы отвлечь от истинной причины своего переезда в

Нюрнберг. Но ничего не вышло — и лейпцигский голос захлебнулся в рыданиях.

Не способный после такой беседы ни минутой дольше оставаться в квартире, он незамедлительно направился в пивную. Уговаривал себя, как больного: в конце концов, он ведь не покривил душой, он и вправду поселился в этой квартире временно. Алкоголь посодействовал, и мысли о лейпцигской женщине мало-помалу исчезли — нюрнбергская снова взяла верх. Но она ни в какую не соглашалась его принимать, когда от него разило спиртным.

А алкоголь, между прочим, подстегивал любовное чувство — вплоть до того, что оно выходило за грань всякого правдоподобия, вплоть до приступов несвойственной Ц. говорливости. По мере того как действие винных паров слабело, трезвели и чувства, и он пугался всего, что наплел ей часами раньше. Беспокоился, сумеет ли сдать эти чувства в архив, когда срок его здешнего пребывания завершится: наподобие того, как припасаешь в закромах памяти крепкий материалец. Сможет ли оставить чувства позади, когда придет пора сматывать удочки.

Расстаться с квартирой, пожалуй, будет легко. Он никогда не прилагал ни малейших усилий,

чтобы придать ей жилой вид. В первые месяцы в комнатах, если не считать матраса на полу, вообще не было мебели. Прошла целая вечность, прежде чем обзавелся столами, стульями и книжными полками; тут срок нюрнбергского пребывания почти уж наполовину истек. Стеллажи стояли собранные, но порядка не было; вместо книг на полках обитали кастрюли и сковородки, по соседству — ворох рубашек и исподнего. Пластмассовая корзинка для столовых приборов навек поселилась на кухонном столе, хотя для нее имелся под раковиной специальный ящик; ножи и вилки группировались вокруг, заняв всю столешницу. Он как будто без устали метил пространство знаками временности своего пребывания. Как будто должен был проводить разъяснительную работу, доказывать, что это именно так. Кому доказывать? Себе самому?

На самом-то деле все это — типичный случай депрессивного нежелания действовать, усугубляемого алкоголем, а пуще того — фазами отрезвления, переносить которые стало совсем невмочь. При этом глаза мозолили неразобранные картонки, он все двигал их из угла в угол. В картонках лежали книги, они лишали покоя — отгоняли, можно сказать, самую идею покоя. С

аллергическим раздражением реагировал он, когда ему намекали на символическое содержание этих нераспакованных ящиков. Или когда сам вдруг задумывался: не заметить символики этого состояния невозможно. Особенно эти два ящика… они являли собой *недоработанное*. Они всегда на глазах, налицо, в наличности, но воплощают собой утрату.

Он. давно подошел к тому, что большинство размышлений упираются в один вопрос, очень простенький и применимый к чему угодно. «Куда же мне идти дальше?» — Казалось бы, этот вопрос владел им всегда, но сейчас его власть стала едва ли не монопольной. Стоило худо-бедно сделать или попробовать сделать шажок-другой, как вопрос вырастал у него на пути. Докучал тем неотвязнее, чем меньше хотелось на него отвечать. Ц. подавлял его, но, даже когда случалось выйти из дому по каким-то вполне безобидным делам, вопрос увязывался следом; хуже того, нападали в квартире. С тех пор как он занимал трехкомнатное жилье плюс кухня и душевая, располагая пространством неведомого доселе размера и могущества, ему случалось в самом разгаре странствия по паркету вдруг застывать соляным столпом, будто невольно оборотив

взгляд на Гоморру, и растерянно вопрошать: «В какую комнату мне идти?» — «За рабочий стол подобает тебе идти!» — отвечал он себе. Что и проделывал, но едва выводил на бумаге несколько строк, как ощущал, что изнутри поднимается знакомая жажда, от которой он вот-вот снова сорвется с места. Ц. впадал в досаднейшее смятение, когда, спустившись на улицу, видел, как ноги сами собой, словно иначе и не могло быть, несут его к маленькой площади под названием *Шиллерплатц*. По пять раз в день он ходил туда и кружил по площади; будто под гипнозом, будто заведенный, снова и снова шел на площадь Шиллера. Но сегодня его там не ждали! Этим летом что-то сломалось, между ним и женщиной, которая там жила, образовалась дистанция. Беседы сделались немногословны, свелись к вещам практическим; все чаще, когда он что-нибудь спрашивал, она отвечала: «Это не должно тебя беспокоить. Я сама справлюсь». Или так: «Не волнуйся. Мои дела обстоят лучше, чем ты полагаешь». Она, бывало, и раньше частенько требовала, чтобы он оставил ее на какое-то время в покое, но сейчас оборона приобрела новое качество. И вдруг ему говорят, что ее нет. Уехала… Это похоже на правду: маленькая машинка, стоявшая у подъезда, исчезла.

Допросив с пристрастием всех знакомых, он наконец выяснил: она в Мюнхене, в частности, для того, чтобы побыть подальше от него. Ежели он решится на какое-то время оставить ее в покое, то однажды она непременно вернется…

Стало быть, он поворачивал обратно. А поскольку на улицах на каждом шагу пивные, удалялся в свое жилище, чтобы ходить там из комнаты в комнату. На соседнем дворе, под окном помещения, которое он избрал для своего «кабинета», лаяли гончие соседского мясника, лаяли до глубокой ночи.

Он догадывался, у кого она остановилась в Мюнхене, но позвонить не решался. У нее там друзья: муж и жена, они жили на разных квартирах, и квартира мужа, который постоянно ездил в командировки, нередко днями, а то и неделями пустовала.

Прошлой зимой Ц. тоже там побывал, прожил недели две или три; позже он выразился поэтически: заброшен в Мюнхен по воле рока. Мюнхен издавна привлекал его (не зимой, правда, но что поделаешь, весной и летом путь неизменно пролегал в стороне). Все, что читал Ц. об этом городе, питало в нем какой-то остаточный романтизм, звучало приблизительно как *Италия* (очень

похоже, кстати сказать, обстояло с городом *Вена);* преисполненный восторженным оптимизмом, он и прибыл тогда на Центральный вокзал Мюнхена.

Первое, на что упал его взгляд, — гигантская надпись под перекрытиями вокзала, превозносившая Мюнхен как *Мировую столицу пива*… он тогда уже начинал видеть проблему в своих неумеренных возлияниях. О Старой пинакотеке, значит, ни слова; здесь главенствует пивоварня, это тебе объясняют уже на вокзале. И последующие недели свелись к борьбе с амбицией этого города, что было не лишено известного комизма: проникнуть в мюнхенский мир Ц. так и не довелось, по сути, вокзал стал конечной точкой его путешествия.

Он вообще уже не чувствовал сопричастности какому-либо миру. Он осознал это в Мюнхене, в те предрождественские дни, — даже не то чтобы осознал, просто начал держаться этаким деревенщиной, которого случай забросил в современную метрополию. Двух лет западной жизни как не бывало; странный водоворот, в который его затянуло, неудержимо тащил назад и вглубь. Внезапно его осенило, что он, вообще говоря, из другой страны… в уходящем году это почти

забылось, теперь эта забывчивость показалась ему болезнью. Точно обосновать он не мог, однако подозревал, что весь минувший год он был никем. Два года назад (за год до этого) все еще было иначе: тогда у него была виза и он был занят лишь тем, что, цепенея, ждал окончания срока, который был отпущен ему этой бумагой. В конце концов, проигнорировав окончание визы, остался на Западе: с той самой минуты и началось это беспамятство.

В иные дни он забывал, зачем ему выдали эту визу. Он запрашивал и получал ее «в качестве писателя», процедура была трудна, но в конце концов все сложилось. И вот за последний год это «в качестве писателя» (так он с ненужной громоздкостью сам обозначил в анкетах) до того оттеснилось на задний план, что его, того и гляди, придется назвать утраченным. В этой стране он в писатели не годится, думал Ц.

Он вдруг задумался, откуда к нему пришло сие качество, но доискаться не мог. Ему виделся некий призрачный лес, когда он размышлял об этом «откуда», — лес, в котором стало темно… тот край, та территория психики лежит в отдалении, за границей, через которую назад не перебраться. Как же ему вернуться к этому писательскому ка-

честву, если он навечно отрезан от его источника, который казался ему чем-то вроде доказательства собственного существования — пусть даже путаного и расплывчатого.

Вообще говоря, он поехал в Мюнхен затем, чтобы навести порядок в своих мыслях и, если получится, их записать: все возможности для этого как будто закрылись… в этом городе он еще дальше отодвинулся от своих истоков.

Теперь он каждую ночь приходил на Центральный вокзал, где имелся некий киоск; когда огромный холодный зал к полуночи постепенно пустел, этот киоск все еще осаждали те, кто, подобно ему, не находил покоя в своих четырех стенах… при условии, что эти четыре стены у них были. Стоя рядом с киоском, можно было читать табло перед входами на перроны, он пил и смотрел, не мигая, на названия обозначенных пунктов прибытия, так хорошо знакомые: *Лейпциг, Центральный вокзал; Берлин, Центральный вокзал.* А может, там было указано только время прибытия… в одну из ночей он стал свидетелем эпизода, который заставил его призадуматься. Он записал происшествие, то было единственное письменное свидетельство мюнхенского периода. Из одного из последних, полуночных,

поездов на перрон сошел юноша, который, едва почувствовав под ногами твердую почву, вскинул руки и разразился ужасным воплем, чем тут же привлек к себе всеобщие взоры. Размахивая скудными пожитками, юноша двинулся к выходу (при этом он подражал строевому шагу: нога топала по бетону, колено взлетало до самой груди), скандируя в такт шагам: *ДОЛОЙ ГДР! ДОЛОЙ ГДР! Ц. сразу сообразил, что это за разновидность: юноша был отъезжантом, то есть тем, кому удалось, подав бумаги на выезд или путем не* менее утомительных операций, перебраться через границу и доехать до Мюнхена. И вот он предавался восторгу свободы, громогласно его выражая под мирными сводами мюнхенского вокзала. Когда крикун дошел до киосков, зароились первые полицейские… Его быстро окружили и скрутили. Паренька уже уводили, заломив руки за спину, а голос его все гремел: *Долой ГДР… долой ГДР!*

От этой сцены на вокзале сделалось неуютно. Ц. купил в киоске бутылку водки, вскочил в такси и поехал к своему временному пристанищу.

Этот эпизод, помнится, долго его преследовал; с тех пор похожие сцены на многих вокзалах Федеративной Республики стали, наверное, частым явлением. В последнее время в прессе

полным-полно репортажей о том, как юные граждане «государства СЕПГ» легионами подают на выезд; писали о беженцах в будапештском и пражском посольствах и о том, что все больше людей выпускают. Сочетание «волна отъездов» возникало и раньше, но никогда еще не подкреплялось столькими фактами. А темы ГДР касались с такой осторожностью, что любой без подсказки соображал, что «там» совершается явный процесс распада. О симптомах распада поговаривали и раньше, и Ц. всегда считал такие разговоры несбыточным утопизмом. Но новый советский генсек произносил слова, не услышать которые было невозможно: «Кто опаздывает, того наказывает жизнь…»…положим, он сказал это в качестве самокритики, но для ГДР такие слова звучали веско. Кое-кому в них и вовсе слышался смертный приговор.

В связи с этим Ц. вспомнился еще один эпизод, показавшийся значимым. Когда однажды он вынужден был провести ночь в тюрьме города А. (районного центра той местности, где родился), он сразу понял, что в той норе, куда его заперли, ему не удастся проспать ни минуты. Камера, вероятно, была вытрезвителем: повсюду зримые следы катастроф, сопровождающих сей процесс…

В ГДР, подумалось Ц., пристрастие к алкоголю все еще рождает незабываемые образы, так что, с точки зрения писателей и художников, не так уж и нелепо посвящать свои дни беспробудному пьянству. Камера, дверь которой за ним захлопнулась, состояла из нескольких кубометров зловония, там были нары, колченогий стул и треснувший унитаз, у которого не отключался смывной бачок; внизу стояла мутная осклизлая лужа. За нарами по стене тянулся широкий след подсохшей блевотины; лампочка в двадцать пять ватт тускло светила на стены, покрытые слоем непонятной грязи — похоже, человеческими экскрементами и брызгами крови; кроме того, стены были испещрены нацарапанными на них надписями, сообщениями и адресами. Чтения хватило на всю ночь. И один из первых лозунгов, которые он прочел, без обиняков провозглашал: *Да здравствует капитализм!*

Сегодня на вокзале он услышал вторую часть этого изречения. И тем самым, считай, постиг весь мыслительный багаж молодых граждан ГДР. Он помнил, с каким злорадством прочел тогда эту фразу. Но сейчас на глаза навернулись какие-то странные театральные слезы, трогательный спектакль на мюнхенском вокзале пробуждал

в душе нечто сродни ностальгии. А ностальгия нужна, чтобы осознать наконец-то свое *прибытие* на Запад. В этот миг Ц. был одним из тех писателей Федеративной Республики, что «роняют слезы в свое пивко…»

Это была цитата из фельетона в одной крупной газете, которая имела обыкновение ставить на вид западногерманским писателям, но ни единому слову которой никто, по счастью, не верил. Ц. покачал головой, выплеснул в раковину пиво, разбавленное слезой, и налил новый стакан.

Каждый последующий вечер он брал сумку с вещами и шел на вокзал; пока еще верилось в возможность найти спасение в бегстве, вернуться в Нюрнберг. Дальше того киоска Ц. не дошел ни разу. Когда уходили все поезда, наступало время, запасаясь очередной бутылкой водки, отправляться к себе на ночлег; сумка для того и служила, чтобы незаметно доставить в квартиру *родимую…* он вдруг понял, что это значит, когда алкоголик зовет водку *родимой.* Ц. всякий раз надеялся, что ключа, который он оставил под ковриком, там не окажется. Значит, вернулся друг, хозяин квартиры, нужно съезжать и двигаться в Нюрнберг. Ключ неизменно лежал под плетеным ковриком; выцарапывая его оттуда, он бывал уже

так хорош, что опирался лбом о дверной косяк, чтобы не грохнуться.

Опорожненные бутылки, стоявшие рядом с помойным ведром на кухне, пока легко поддавались учету: если верно, что на бутылку водки уходит два дня (то есть каждый третий он ходит за новой), то он прожил здесь вроде бы двенадцать дней. Вероятно, он не сосчитал бутылок, которые снес на помойку, еще было выпито много пива, а иной раз он и вином не брезговал. Если не ошибся в подсчетах, то пару часов назад наступило двадцать второе… а может, и двадцать третье декабря. Он дал зарок завязать в Рождество, нельзя ошибиться в дате… но может ведь случиться так, что привокзальный киоск рождественской ночью не будет работать. Рождество станет в его жизни переломным моментом; он вдруг уверовал и в Рождество, и в Младенца Христа.

В тот визовый год, то есть почти два года назад (неужели и вправду два года прошло? — думал он), Ц. получил стипендию, довольно большую ежемесячную стипендию одного литературного общества, а потом ходатайствовал о продлении, и его получил тоже. На счете скопились деньги, которые не истратить. Потом он выиграл в литературном конкурсе большую премию; прочие

участники завидовали… И были правы, сказал он себе; сейчас ему казалось, что тексты у большинства кандидатов были сильнее, чем у него. Он мог бы прожить эти годы почти без забот, написать новую книгу… ничего не вышло, происходит что-то зловещее, для чего есть тысячи объяснений, но ни одной убедительной причины. А между тем деньги буквально утекали сквозь пальцы…

Про деньги лучше не думать, при одном слове *деньги* в нем поднимаются волны паники, которые гасятся только спиртным. Причина паники — неописуемый стыд… Что он делал? Небо коптил, из-за этой-то праздности и возникало чувство стыда. Набрал денег, стипендий, литературных премий, а после словно оцепенел и перестал писать. Изредка, хорошенько набравшись, он надеялся, что уже умер… только покойнику дозволено выскочить из круговорота купли-продажи… Но неизвестно, остается ли с тобой это ужасное чувство стыда и за гробом, никто не знает наверняка…

Из Мюнхена поздно вечером есть еще один поезд на Лейпциг, сказал он себе. Который прибудет утром… а может, я ошибаюсь, и поезд идет только от Нюрнберга?… В Нюрнберге ему появляться заказано, если он решит вдруг, среди ночи, ис-

чезнуть из ФРГ. Исчезнет, будто скоропостижно помер. Почему он не может отлепиться от киоска и подойти к расписанию? Вдруг его пропустят на границе без затруднений, как-никак у него загранпаспорт, выданный в ГДР. Вдруг они не заметят, что виза давно просрочена. А может быть, въехать по паспорту ФРГ (такой у него, естественно, тоже имеется)… Если дверца клетки захлопнется, то обратно уже не выпустят. И для ФРГ он умрет, исчезнет…

Он даже придумал, в чем смысл его пьянства, для которого и впрямь надобна выдержка: чтобы вернуться с пустым карманом. Денег должно в аккурат хватить на билет… в один конец. Ну, разве только пару сотенных припрятать для матери, и все. Наверняка по возвращении ему придется столкнуться с властями. Нельзя исключить, что кое-какие недоброжелатели — а их немало — сочтут его «перебежчиком». Таков общепринятый термин, обозначающий людей, которые, не испросив разрешения, повернулись спиной к своей стране; ему, если угодно, вот уже третий год вменяется данный состав преступления. Помимо того что Ц. коробило от мысли, что он окажет содействие экономике ГДР валютной суммой (пусть даже самой скромной), наличие западных денег

— наисквернейшая предпосылка, если хочешь начать там новую жизнь. Если не отвыкнуть от этих денег, то рано или поздно западные контакты возобновятся. Он снова окажется втянут в круговорот стыда… и, если дьяволу будет угодно, когда-нибудь снова получит визу…

Ключ каждую ночь послушно и верно лежал под ковриком: квартира пуста, — казалось, так будет вечно. Он сидел под маленьким абажуром, с трудом высасывал поллитровку, смотрел на зеркальный фасад высотки, которую строили напротив его окна. Невзирая на бунт желудка, упорно продолжал пить, пока не стало светать и за окном не полетели крупные мокрые хлопья. Тогда он выключил свет, тихонько, как после тяжелой работы, которой не видно конца, прокрался в соседнюю комнату и лег спать.

Пока водка не затормозила мыслительный механизм в моем черепе, подумал Ц., дай-ка представлю себе утро приезда в Лейпциг. Если и вправду уже не проснусь, то хоть возьму с собой на тот свет лейпцигскую картинку. Утро, полное солнца: только мысль о свете способна поддерживать фантазию возвращения и возрождения. Что же увидел человек, прибывший спозаранку на вокзал города Лейпцига…

Особое свечение там, под вокзальной крышей; он увидел его еще в полусне. Свет, который видит только тот, кто досконально знает вокзал и у кого есть свободное время отыскать его под гигантскими сводами. Только тот заметит его, кому нет дела до всеобщей депрессии, что царит в этот ранний час отправления. Никто в этой сонной толпе, что спозаранку уже на ногах, не замечает света, этой искристости, сгустившейся до сверкания; этого сияния грязи в кафедральном соборе, не убиравшемся более четверти века. Свет загорается наверху, под крышей: чад, дым, водяной пар и пыль, шумный выдох человека и поезда. Ничего из того не видят люди, которые выпускают из легких воздух, зябко ежась после трамвайно-автобусной тесноты, в которой добирались сюда. Толпа выдыхает, словно в трамваях все могли только вдыхать, отвоевывая пространство, увеличивая компрессию неразличимого сгустка тел. Сейчас, освободившись на полчаса, они выдыхают, выталкивают отработанный кислород, так что под крышей вскипает марево испарений; но вот подошли электрички, готовые распределить толпу по рабочим местам. Человек, что остался почти один на вокзале, отделился от трудящихся масс уже несколько лет назад,

это был шаг в неизвестность, до сих пор в нем остался страх, как будто он вышел из людского сообщества, точно из партии.

За это его журили и осуждали. Его друзья продолжали ходить на заводы, продолжали работать, а пишут небось получше его, думает он иногда. И дружбу их он утратил. Вот он стоит на широкой платформе, от которой отходят перроны, где-то посредине между восточным и западным выходом, и вокзал почти пуст; большинство утренних поездов под возбужденную говорильню динамиков уже разъехались и увезли толпу. Его взгляд скользит вдоль широкой ветки пустых путей к выезду из вокзала, откуда рельсы веером расходятся в разные стороны. Полукруглые эти воротца, выезд (издалека он кажется маленьким), наполнены ярким светом. И от этого полукруга — подобного солнцу, взошедшему лишь наполовину, — по сводчатой крыше вокзала тянутся девять светящихся лент, которые ширятся и уходят все дальше. Это пока еще прозрачные стеклянные сегменты купольной крыши; кажется, будто какое-то солнце, встающее из темноты, рассылает долгие, устремленные ввысь лучи. Солнце светит на вокзале, как свет в соборе. Девять лучей, магическое число. И поезда,

прорываясь сквозь солнце на волю, теряются в ослепительном свете.

* * *

Как ему, вообще говоря, жилось тогда в Мюнхене? А в других городах, от которых в памяти сохранились одни имена да вокзалы… он помнил, что в городах этих бывал, но почему-то они оставались закрыты. Способность воспринимать отказывала, и когда он думал о причинах этого феномена, то много чего приходило на ум: замутняющий зрение алкоголь, неспособность к контактам, недоверие к самому себе, дезориентированность.

Реальность мало-помалу ускользала… он стоял за порогом, она его не принимала, он не способен соотнести реальность с собой… чем объяснить это — неизвестно. Реальность отгородилась стеной; куда ни пойдет, он несет стену перед собой. Но стена не бетонная, она — его ощущение, его сознание (или же: ощущение под сознанием)… стена нереальна… и потому в возможность ее разобрать верится все слабее. Эту стену нельзя ликвидировать, если хочешь что-то переменить, можно ликвидировать только себя…

В этом расположении духа он пускался на

поиски собственной памяти: по странной необходимости, как будто, кроме какого-то ветхого воспоминания, ничем уже не обладал… и вокруг росли горы заметок, листков с обрывками прошлого; читая днем позже невнятные строки, накарябанные во хмелю, он обычно выбрасывал их: они были написаны в тоне малодушного цинизма, от которого с души воротило…

Но в городах ГДР реальности у него тоже не было: в Лейпциге, Дрездене, Восточном Берлине… это ясно уже потому, как плохо помнит он те города. А теперь их, что же, совсем не станет? Или они превратятся в фантастические бестелесные образования, следы какого-то прошлого, в котором уже не узнать своего… в виртуальные образования, с которыми мозг, истерзанный алкоголем, почти не справляется. Он больше не видел себя в тех городах (как не видит и в новых, западных городах); в городах Восточной Германии он был случайностью, призраком, проходным персонажем; должно быть, его отсутствия там даже и не заметили. Об этом он непременно бы написал… если бы мог, если бы вдруг снова начал писать! Но все чаще закрадывалось подозрение, что писать он может только в *тех* городах…

С теми городами, думает он иногда, сейчас про-

исходит то же, что было в конце Второй мировой. Их тогда уничтожили, никто не знал, оживут ли они когда-нибудь вновь. Если и оживут, то станут совсем другими… вот и он со своими мыслями тоже как будто застрял в конце той войны: ведь тогда оно и возникало — его сознание, ощущение мира… а сейчас города уничтожили снова, с помощью средства, кажется, более эффективного, чем ковровое бомбометание. Более эффективного потому, что уничтожение это застало его в момент, когда он был напрочь лишен крепости. Сделала это граница (с тех пор как истекла его виза, границу не перейти), стена, оградительное кольцо чиновничьих постановлений. Про это нужно писать, как — дело десятое…

Так что же мешает ему начать? Не в последнюю очередь то, что Гедда, подруга Ц., отвергла его. Обратилась в бегство… выражаться точнее не хочется. Это случилось не в первый раз, и чем назойливей, чем исступленнее он пытался восстановить утраченную связь, тем резче она настаивала на сохранении дистанции. Исчезла… явно, что где-то в Мюнхене, но едва он там появился, как она тотчас куда-то уехала. Нет, она не в первый раз ему говорила (передавала через других), что ей нужно подумать, пусть он

на время оставит ее в покое. Она уверена, что и ему тоже нужно подумать…

Временно, вот оно, именно так он и живет уже какое-то время. Когда выпьет, держится на плаву; но Гедда, бывало, все повторяла, что не может смотреть, как он разрушает себя алкоголем…

«Это самый трусливый метод самоубийства!» — заявляла Гедда. Она недолюбливала спиртное. Виноват в этом был ее русский отец, которого она все свое детство видела пьяным. Следствием этого зрелища стали не только ее неприязнь к алкоголю и пьющим мужчинам, но и то и дело прорывавшийся скепсис в отношении к пресловутому «русскому характеру», что бы под этим ни понималось, хотя черты этого характера были присущи и ей самой. Гедда — не настоящее имя, а псевдоним; она взяла его по совету издательства. Ее настоящее имя, сказали ей, слишком сложно для обложек книг, каковые должны соблазнять немецких читателей на покупку.

Ц., сказала она, тоже должен подумать. Пусть поймет, хочет ли он с ней жить. Совершенно очевидно, что он этого не знает. И в результате она теперь тоже уже не знает. И хорошо бы ему подумать над тем, в самом ли деле он пьянствует потому, что не может писать (так он, помнится,

заверял), или же, наоборот, потому и писать не может, что без просыпу пьет.

А еще пусть подумает вот о чем: вдруг для него жизнь с женщиной всегда влечет за собой невозможность писать (вернее сказать, он что-то подобное вообразил). И дело не только в женщине. Вдруг он вообще не выносит человеческой близости, вдруг она несовместима для него с писанием…

— Но мы ведь живем не вместе, мы ведь раздельно живем, — возразил было Ц.

— К счастью! — отрезала Гедда.

Тогда в Мюнхене он и в самом деле мог бы над этим поразмыслить, должно быть, затем и ехал туда. Возможно, пришел бы к похожим выводам… это были бы мысли, с которыми трудно смириться. Конечно, он и сам уже подумывал… но почему, почему это так? Почему он не выносит близости? Потому что другие потребуют аргументов в защиту писательства? Но почему человек, который сидит себе, тюкает по клавишам, относительно смирно себя ведет, — почему он обязан подыскивать аргументы? Оправдывать свое писательство?! У него отродясь аргументов не было, тем более убедительных. Аргументы прямо-таки взывают к контраргументам; последних хоть

отбавляй, далеко ходить не приходится. Он по самую маковку нашпигован контраргументами.

В Мюнхене он был предоставлен себе, а все равно не писал. Мог бы, по крайней мере, сообразить, что Гедда, которая сама пишет, не станет требовать аргументов. Он не может писать, потому что сам встал себе поперек дороги, вот и вся недолга. По мнимо ничтожному поводу между ними случилась размолвка, из которой выросла ссора, испытание на разрыв: он забыл день рождения Гедды, все из-за водки. В ходе этой ссоры Гедда и потребовала, чтобы он на время оставил ее одну; скверно, что Гедда не пожелала сказать, на какое именно время.

В те угрюмые дни в Мюнхене он казался себе арестантом, отправленным в ссылку на неизвестный срок: конец срока зависит от его поведения… но, как подобает себя вести, он не знает. Чем больше пил, тем полнее завладевало им чувство, что он отлучен… навсегда, осужден терпеть эту ссылку до конца своих дней. Парализующий ужас, питаемый этой мыслью, заглушался одним алкоголем…

Конец его пребывания в Мюнхене вышел сумбурным; он нимало этому не способствовал, но сыграл нечто вроде заглавной роли, и тем самым

сия концовка вполне отвечала его характеру. Запомнилось несколько четких пронзительных картинок, но они выпирали из зон тумана, бессвязные, несводимые в ясный сюжет. Разбуженный блекотанием телефона, он, шатаясь, поднялся с кровати. Не сверкни надежда, что это Гедда, что это она уже давно пытается дозвониться, — не подошел бы. За окнами было опять темно, ранний вечер, в комнатах стыло. Я в Мюнхене! сказал он себе; это первое, что он себе говорил, когда просыпался. А первое, что чувствовал, — дикая боль в затылке, для встречи с которой в бутылке всегда оставлялось на два пальца шнапса. Он отчаянно рыскал по всем трем комнатам в поисках телефона; наконец взял трубку, сказал:

— Алло!

В трубку проник женский голос, безостановочно тараторивший нескончаемо длинными предложениями. Это не Гедда. Постепенно до него доходило, что звонят ему, что это жена знакомого, в квартире которого он остановился. Он, к сожалению, должен съехать… в смысле, с квартиры… прямо сегодня… без этого не обойтись! Но разумеется, только на время…

— Что? — встрепенулся он.

На время! Не навсегда, только на праздники, где-нибудь до первых чисел января. Ее муж вернулся, еще до обеда. И постоянно звонил, но никто не снимал трубку. Сейчас он едет к себе на квартиру… ведь был уговор, что к Рождеству он вернется. Ей очень жаль, она все думает, не слишком ли это все быстро… не повредит ли это ему.

Об уговоре насчет Рождества Ц. помнил смутно.

— Все в порядке, — сказал он. — Я пока сложу сумку.

Ну, зачем уж так торопиться. Не хочет ли он, перед тем как отправиться в клинику, заглянуть сюда и поесть? Муж обо всем с ним поговорил… или нет? Нет?! Ой, как глупо! Итак, муж знаком с одним тамошним доктором — Ц. ведь в курсе дела? И тот согласился принять его прямо сегодня. Тоже не в курсе? Неужели?! Но он ведь согласен? Конечно, он должен явиться на лечение добровольно. Она уверена, так будет правильно… И Гедда наверняка одобрит. Муж сообщил доктору об алкогольной проблеме, и доктор сказал, что дело серьезное.

— Ты говорила об этом с Геддой?

— Она одобряет, можешь не сомневаться.

— Что за клиника?

Специальная, одна из лучших, какие есть в Мюнхене. Ему будет там хорошо, он там отдохнет. Уйти можно в любой момент.

— Наркологическая больница? — спросил Ц.

Муж наводил подробные справки, и доктор, мужнин знакомый, гарантировал, что Ц. в любую минуту может уйти с отделения.

— Если ты так горячо заверяешь, то наверняка все так и есть, — сказал Ц.; в эту минуту в дверь позвонили, он повесил трубку.

Вошел муж и посмотрел на Ц., в чертах лица мужа обозначилась выдержка.

— Твоя жена упредила меня о тебе, — сказал Ц.

— Тогда я рад, что ты еще здесь. — Голос звучал слегка иронично.

Друг быстро обошел квартиру.

— Вещи ты уже сложил, — констатировал он. — Ты прав, лучше поторопиться, сегодня, как-никак, двадцать четвертое декабря.

— Я уже месяц как их сложил.

— Месяц еще не прошел, забыл разве? Ты уж прости, что все, как нарочно, пришлось на праздники. Но именно в праздники тебе там будет особенно спокойно.

— Я равнодушен к праздникам, — сказал Ц. — Я их всегда забываю. А в какой санаторий едем-то?

— «Санаторий» — это отлично! Называется *Хаар,* довольно известное заведение. Странное, признаться, название. Тихое место в окрестностях Мюнхена.

Ц. вспомнил, что название Хаар когда-то уже слышал.

— Это не та психбольница, где покончил с собой писатель Бернвард Веспер?

— Та самая… — Друг посмотрел с удивлением. — Все-то ты знаешь! Действительно, Веспер был в Ха-аре, и, признаться, не написал о нем ничего хорошего. С собой он покончил, уже когда его в Гамбург перевели. А клинику в Хааре давно обновили, она теперь первоклассная…

Автомобиль катил по ночному Мюнхену; улицы были недвижны, город казался совсем безлюдным. Пока друг крутил колесико радио (с каждого канала неслось одно и то же рождественское нытье), Ц., сидевший на месте рядом с водителем, несколько раз засыпал. Внезапно просыпаясь, чувствовал растерянность, головные боли в затылке отступили, но он долго не мог понять, где находится. Ощущал себя трезвым и беззащитным, выключенным, как радио. Оно наконец замолчало. Похоже, на улице потеплело, «дворники» сметали к краю стекла грязнова-

тый осадок в виде воды и снега. Машина ехала по шоссе, с обеих сторон стояли кусты и голые искривленные деревца; блестящие капли воды, выхваченные сквозь клочья тумана лучами фар, стекали с ветвей странной органической слизью. Местность казалась зловещей, вдали от всякой цивилизации; встречных машин не попадалось. Было чувство, что они едут уже очень долго, Ц. попытался сострить:

— Как будто вот-вот граница…

— Ты про какую границу? — переспросил друг.

Остановились перед закрытым шлагбаумом, возникшим словно из небытия; по обе стороны в темноту уходил забор, на удивление безобидный. Они были в Хааре; друг договаривался с вахтером; Ц. решил было схватить с заднего сиденья сумку и скрыться в кустах на обочине. Он оглянулся в поисках сумки, но шлагбаум уже поднимали, а друг снова садился за руль. Проехали мимо скопления строений, похожих на составленные вкривь и вкось бетонные параллелепипеды; почти ни в одном окне не было света. Остановились у входа, рядом с которым висела табличка *Приемный покой.* В огромном, матово подсвеченном коридоре, где раскинулся целый парк вечнозеленых декоративных растений, Ц. передали с рук на руки…

так, по крайней мере, ему показалось. Очевидно, с первого взгляда понятно, зачем он здесь, — беспомощное пассивное топтание в коридоре выдает его с головой. Спросили паспорт и сразу куда-то дели. Друг справился о враче, с которым якобы договорился, ответом было недоуменное качание головой. Шевельнулась надежда, что их сейчас отошлют восвояси, но сумку уже поднимали с пола, он ощутил аккуратный нажим в плечо; медсестра, незаметно подкравшаяся сзади, уже вела его к лифту, и, прежде чем он успел попрощаться с приятелем, двери закрылись. Несколькими этажами выше сумку вернули; как Ц. потом выяснил, сумку обыскивали.

Друг, однако же, ошибался, когда полагал, что на праздниках в Хааре особенно тихо. Казалось, клиника переполнена. Здесь подкипало всегдашнее, негромкое, но чреватое взрывом безумие, приглушаемое неусыпным бдением персонала. Ц. вспомнил, каким пустым показался ему город из окон машины, — теперь, кажется, все объяснилось. Та часть мюнхенского человечества, что не сидела сейчас под горящими елками, явилась в приемные пункты нарколечебниц и вытрезвителей, желая подвергнуть себя процедуре, именуемой детоксикация и занимающей

несколько суток или недель. Кажется, все они скучились здесь — те, кто не разворачивал в эту минуту упакованные в подарочную бумагу товары народного потребления, кто не вливался в тысячекратные хоры «Тихая ночь, светлая ночь…», издавая вместо того рождественские напевы, радикально отличные от общепринятых. Когда Ц. прибыл на свой этаж, большинство направленных в Хаар уже лежали в кроватях, и было не различить, спят они или корчатся в конвульсиях ярости. В двух полутемных палатах, разделенных незапертой раздвижной решеткой, где стояли на выбор две свободные койки, его встретило клокотание звуков, в которых человеческая природа угадывалась не сразу. Звуки походили на полузадушенный вой и сопение пойманных звероподобных существ, которых по ошибке заперли в одном помещении. Более дюжины пациентов мужского пола всех возрастных категорий лежали на койках, храпя, хрипя и стеная на все лады. Многие испускали сдавленный ноющий звук, как будто им вставили в грудь диковинный механизм, который, помимо их воли, свистит и скрежещет. Все это слагалось в пение, доносившееся будто из нижних, дохристианских, кругов Ада. Другие,

напротив, безумолчно лепетали несвязные фразы, жалобы и проклятия, маниакальные речи к несуществующей аудитории; они держали «речи к народу», так это здесь называлось. Иногда говорение нарастало и превращалось в рев, на который соседи, не успевая проснуться, сразу же отзывались пугливым визгом. Тогда за стеклом полукруглой кабины, откуда обозревались обе палаты, хлопали, подлетая наверх, жалюзи. Ночная сестра в темно-зеленом халате, коренастая женщина средних лет, поднимала склоненную над чтением голову и нашаривала кнопку звонка. Свободной рукой она наводила в палату конусообразный луч своей настольной лампы, поворачивая колпак, выискивала в ряду кроватей встревоженный ком, испускающий вопли. Уже этого было достаточно, чтобы понизить рев до приемлемого уровня. Луч прожектора-искателя устремлялся назад в кабину, не забыв перед тем скользнуть для проверки по трепещущим и дрожащим телам, что вплотную друг к другу, но в полной разъединенности предаются своей сокровенной адовой муке. Крики делались тише, вырвавшийся на волю пароксизм возвращался обратно в тело, какое-то время оно продолжало корчиться; жалюзи падали вниз.

Ц. только на следующий день понял, что всю ночь не спал ни минуты. Он лежал словно выжатый до последней капли, но при этом плавал в поту; тело всеми порами производило влагу, под ним, казалось, хлюпали лужи, не впитанные синтетической тканью матраса. К едко-кислым и сладковатым выделениям всех, кто до него населял эти нары, примешивался его пот. В какой-то момент он успокоился и подумал, что окунается в круговорот, отменяющий все различия. «Счастье, — подумалось Ц., — не отменяет различий, напротив, на убожестве порабощенных счастье держится особенно прочно. Только несчастье упраздняет все классификации».

Он вдруг ощутил покой при мысли о том, что лежит на постели, пропитавшейся жизненной влагой верениц поколений, перебывавших здесь до него. Много их было, боровшихся здесь за жизнь, проигравших или в который раз уцелевших. А за ним придут другие, чтобы жить здесь и умирать… а где-то посредине — он, прозревающий тонкую паутинку, на которой подвешен каждый. Спать не обязательно, думал он. Он здесь для того, чтобы подслушать шум великой муки.

Наконец, спящие в обеих палатах так ослабели, что уже только жужжали, будто грузные осолове-

лые насекомые. Наступала тихая стадия ночи… Неизвестно, подумал Ц., будет ли каждая из этих темных фигур назавтра еще жива. Он чувствовал себя мало-мальски стабильно, тихонько встал и принялся бродить по палате. Койки были отделены друг от друга минимальными промежутками и стояли двумя рядами так, чтобы из стеклянной кабины открывался полный обзор, поэтому Ц. старался передвигаться как можно беззвучнее. Мужчины лежали, будто вздернутые на дыбе, кто прикрывшись, кто почти голый, многие дремали или полудремали, не закрывая глаз; зрачки беспокойно бегали. Но мужчины не просыпались, когда Ц. подходил к кроватям, их глаза вперялись в него враждебно и дико; очевидно, он казался им образиной, принимал обличье смерти. Он наклонился к одному старику, в тревоге, что с тем что-то неладно: от тощего длинного тела мученика, врастяжку лежавшего поверх скомканного одеяла, то усиливаясь, то вновь затихая, исходила непрекращающаяся дрожь. Старик был одет убого, в серые по щиколотку подштанники и такую же серую вязаную фуфайку на голое тело; под головой лежала какая-то майка. Изо рта пузырилась пена, будто он наглотался кислоты, глаза свирепо поблескивали. Ц. показалось,

что старик отчаянно силится выдавить сквозь удушливую пену разрозненные слова. Он что-то хочет сказать? Ц. наклонился пониже и вроде бы услышал: *Наци… Наци… Гиммлер… Гитлер!* — Ц. подумал, что ослышался, и наклонился к самым губам старика. И снова вроде бы послышалось: *Гитлер… Гиммлер… СС… Рейхсфюрер СС!*

— Что с вами? — прошептал Ц. — Чего вы боитесь?

Старика била дрожь. Напрягшись всем телом, он с трудом выдавил: *катастрофа.*

— О чем вы? О какой катастрофе? Что должно случиться…

Старика так трясло, что железная рама под ним легонько задребезжала. И страх мгновенно переметнулся на спящих соседей, по палате бежала волна тревоги. Испугавшись, что в окошке ночной сестры вновь взлетят вверх жалюзи, Ц. удалился к себе на лежанку.

Бывали часы, когда из-за бессонницы его чувства обострялись почти до галлюцинаций; он пребывал в иных помещениях, похожих на переполненные большие вокзалы. Расположившись в огромных залах на каменных полах, люди пытаются спать; широкие, ведущие вниз лестницы тоже забиты людьми. Но эти вокзалы ему

незнакомы. Он лежал на своей хаарской постели, вслушиваясь в усмиренное буйство мужчин, которым являлись во сне призраки, рожи, чудовища. Шум расходился волнообразно, после минутных затиший он нарастал, подобно далекому шторму, громадой накатывал на невидимый горизонт и мчался вперед, под напором его атаки звенели, кренясь от качки, кровати, и спящие вцеплялись в подушки — каждый сам за себя на оторвавшейся лодке-скорлупке — и хором орали, взрывались единым воплем, но каждый — от своего одинокого страха, со своей одинокой гибелью перед глазами. Чтобы потом изнемочь и затухнуть, будто в безветренной бухте. На это в кабине ночной дежурной не обращали внимания.

Все этажи серого бетонного параллелепипеда были заряжены этими взмывающими и опадающими волнами… как, наверное, и все прочие здания клиники, думал он. Так они держат связь — безмолвным бесовским воем. И где-то в здешней глуши, далеко за Мюнхеном, эти вибрации, как электрическая энергия, собираются в пучки и ведут разговор без свидетелей с таким же безмолвным Богом.

В Хааре будут держать, пока не выгонишь зверя, не выгоришь, опустошенный яростью своего

нутра. Потом отпустят, потухшего и пустого; а окончательно иссохнув, ты однажды снова напьешься. Вновь обернешься псом, который воет на Бога…

Три дня понадобилось телу, чтобы войти в режим, в котором оно заново научилось спать. До тех пор Ц. временами ненадолго впадал в беспамятство, равносильное полной апатии. Полузакрыв глаза, лежал на спине и сквозь красноватую дымку воспринимал все, что делалось вокруг, но ничего не мог истолковать. Три ночи и почти три дня продержалась в нем ледяная стужа мюнхенского вокзала, ступни, словно примерзшие к бетонному полу вокзального вестибюля, ничего не чувствовали. Наконец от этих ступней как будто повеяло теплом, и он сразу заснул.

Когда на утро четвертого дня он встал с кровати, одна из сестер заметила, что он проспал больше пятнадцати часов. Ему велели отправляться под душ, выдали маленький бритвенный прибор. В зеркале душевой он насилу себя узнал: гротескный призрак со свалявшимися всклокоченными патлами и седой щетиной в полсантиметра; вокруг налитых кровью глаз — морщины цвета айвы. После душа он почувствовал, что в последние дни ничего не ел, по крайней мере ничего

такого не помнит; он жадно глотал слизистый супчик без цвета и запаха, который вместе с горой хлеба раздали утром. После завтрака на отделении воцарялась благоговейная тишина, атмосфера почти церковная. Разрешение выходить в коридор он испросил уже два дня назад. С тех пор как его жизнь в ГДР закончилась, находиться взаперти для него невыносимо! — патетически объявил он. И врач, как это ни странно, дал свое согласие. Так Ц. выдвинулся в группу пациентов, у которых процесс детоксикации протекал успешно и за которыми признавалось право выходить в коридор. Почти шестнадцать часов в сутки мужчины смиренно и молчаливо бродили по коридорам.

В коридорах этих Ц. поначалу жутко плутал, пока наконец не определил для себя круговой маршрут, которого впредь и держался, никогда не меняя вектор движения. Это был переход, опоясывающий бетонный параллелепипед наподобие наружной галереи. Сперва он ходил быстро, суетливо, подавшись туловищем вперед, но вскоре почувствовал, что не справляется с темпом. И приноровился к вялой рысце, принятой на отделении. Это был своего рода беглый шаг, только медленнее самой неторопливой

прогулки и почти без отрыва подошв от пола. Машинальная манера передвижения; казалось, так продвигаются через вечность. Но сперва ее нужно было освоить; не осилив и десяти кругов, Ц. в изнеможении упал на угловую скамью в одной из курилок. Переждал, пока неистощимый источник тревоги внутри опять не забурлил, не погнал дальше.

В нем все еще жило нечто, что стремилось обгонять других пациентов; одна из сестер сделала Ц. замечание, призвав вести себя поспокойнее. Возможно, навязчивый соревновательный стиль приводил в возбуждение остальных бегунов по кругу. Но он, как будто лишившись всякой способности к покою, спешил вперед, пока не начинал задыхаться и кашлять. Он считал круги, и выходило все меньше, но в курилках тоже выдерживал от силы пару минут. И тогда решил наборматывать, в такт своим шаркающим шагам, одно слово — итог, конечный продукт забытых мыслей. «Кончено. Кончено. Кончено…» — это было как эхо, цитата.

Завернув однажды за угол, в светлом, до блеска начищенном коридоре, он устремился к яркой застекленной стене и сослепу врезался в привидение, оказавшееся тем длинным, худым как

щепка мужчиной, за которым Ц. в свою первую или вторую хаарскую ночь бессовестно, как представлялось ему сейчас, наблюдал.

— Виноват, — пробормотал Ц.

В ответ раздалось:

— Ты, часом, не тот, у кого курево есть?

Сигареты у Ц. имелись; бритву, очки для чтения, книгу он забыл, но пару пачек сигарет в сумку бросил. Ц. обнаружил, что мужчина вовсе не так стар, как казалось; сейчас он тоже был тщательно выбрит, с лица отступило безумие. Он и тут, при всем честном народе, щеголял все в тех же обвисших подштанниках и нижней рубахе мышиного цвета. На сутулом немощном теле болталась ворсистая вязаная кофта, из стоптанных тапок торчали голые щиколотки. Ц. так и подмывало спросить, что тот имел в виду под *катастрофой,* каких *нации* страшился, но как-то не хотелось наводить разговор на эпизод своего ночного шпионства. Ц. не знал, что сказать, и, после того как они смущенно перекурили, спросил за неимением лучшей темы:

— А чем вы вообще занимаетесь, что будете делать, когда выйдете отсюда?

Мужчина пожал плечами. Ц. повторил свой вопрос.

— Я алкоголик, — ответил тот.

Ц. усмехнулся, как будто услышал шутку.

— Но ведь не по профессии же?

— Алкоголик, он и есть алкоголик, — последовал ответ. — А господам из бизнеса только выгодно, что мы есть. Потому нас тут и приводят в норму… с куревом, кстати, то же самое.

Ц. снова протянул собеседнику пачку; тот взял сигарету и сказал:

— А сам чем занимаешься? Я уж приметил, ты с востока, но недавно. Из тех, кто проскочил. И уже здесь, быстро что-то. Когда приехал?

— Два года уже… а может, уже и не два? А ты тоже, судя по выговору, оттуда…

— Лет двадцать, как перебрался, что-то вроде того. Не суть важно, сколько ты уже здесь. Это там, за кордоном, было важно, сколько еще осталось. Только и думаешь: сколько еще сколько еще… а потом все вдруг кончается. Ты не похож на профессионального алкоголика, быстро оправился. Так чем занимаешься?

Ц. помедлил с ответом.

— Пишу… то есть писал… я писатель, если тебе это что-нибудь говорит.

— Писатель! — эхом отозвался второй. — Писатель! Это чтобы про здешние порядки написать?

Только я как-то не замечал, чтобы газеты нами особенно интересовались.

— Да нет, я книги пишу. Для газет редко… может, когда-нибудь напишу что-нибудь про Хаар.

— Может, и напишете. — Собеседник вдруг перешел на «вы. — Но будьте осторожны, никаких имен! Это нормальная клиника, и мы все рады, что здесь оказались… бывает хуже!

Встреча двоих восточных товарищей в западном вытрезвителе! — подумал Ц. Какой символический судьбоносный анекдот. В тот же день он подошел к старшей сестре, дежурной по этажу, и попросил проверить, какая профессия значится в протоколе о приеме. Произошла ошибка. Сестра удивленно спросила его фамилию, выдвинула длинный металлический ящик и стала рыться в картотеке. Наконец вытянула нужную карточку:

— Тут вот написано, что вы писатель. Явились добровольно. Сами подписывали.

— Прошу вас, — сказал Ц., — зачеркните слово *писатель*. Это самозванство, это ошибка.

Она слушала так флегматично, как будто самозванство — самая будничная вещь на свете.

— Но что-нибудь мне ведь нужно туда вписать, — сказала она.

— Писателя зачеркните, а сверху напишите:

без определенных занятий.

— Как хотите. Только ваши данные уже в компьютере, а там их так просто не исправишь.

— Попытайтесь, пожалуйста, — сказал Ц., поблагодарил и ушел.

Он вспомнил, какую всегда испытывал неловкость, рекомендуясь *писателем*... еще хуже было со словом *поэт*. То и дело ловишь на себе взгляды, в которых читается: человек, так отвечающий на дежурный вопрос, хочет вызвать ненужный ажиотаж. А выдохнув робкое *«Я писатель»*, видишь, как собеседник сжимается от напряжения, — словно на то обстоятельство, что перед тобой «писатель», следует стремительно отреагировать отточенным элегантным пассажем, наколдовав за секунду небольшое эссе, поражающее широтой интеллектуального кругозора. Но это-то ладно, все это можно с немой покорностью выслушать, самое омерзительное — вопрос, который может грянуть в любую минуту: «А вы про что пишете?» — Ц. сам наблюдал однажды, как в поезде одного безобидного пассажира вынудили сознаться, что он писатель. «Ах ты, мать честная!» — вырвалось у озабоченного Ц.

Поскольку упоминание темы писательства, похоже, неизбежно было сопряжено с недора-

зумениями и душевными вывертами, Ц., став автором на вольных хлебах, еще долго сообщал о себе сведения, на несколько лет устаревшие: «Я заводской кочегар». Вариант для образованных: «Работаю на теплосети в металлургической промышленности». После чего ждать расспросов со стороны собеседника, озабоченного поддержанием беседы, обычно не приходилось.

Писательское ремесло у всех вызывает сомнения, и Ц. не знал, в хорошем ли свете оно его выставляет. Писатель — это, наверное, самая немецкая из всех профессий. По крайней мере, сообщение о принадлежности к писательскому цеху вызывает не меньшую оторопь, чем если ты признаешься в кругу иностранцев, что у тебя немецкое гражданство. В азиатской компании, кажется, не очень важно, кто там вьетнамец, кто кореец, а кто китаец. А представляясь немцем, сразу встречаешь оттенок избыточного респекта — тот самый излишек, который необходим, чтобы спрятать улыбку злорадного самодовольства. И когда сообщаешь, что ты писатель, все очень похоже таращат глаза; как будто ты заявил: Я *оберштурмбанфюрер!* Сообщить о своем писательском статусе — это по-прежнему! (думал Ц.) все равно что звание сообщить.

Таким размышлениям он предавался, пока наматывал в коридоре свои круги. При этом он, как ему чудилось, зависел от освещения: на той стороне галереи, где размещались окна, где сквозь застекленную стену лился белесый свет зимнего неба и были ниши-курилки, Ц. учащал свои шаркающие шаги; гнал вперед что есть силы, паркет под ногами скрипел, курильщики глядели с неудовольствием. Здесь он — «писатель»... эта весть, вероятно, уже разнеслась по отделению, и сейчас ему меньше всего хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил с ним на эту тему. К счастью, курильщики были полностью поглощены дележкой скудных сигаретных запасов. На другой стороне галереи, в электрическом свете, всегда слегка тускловатом, он отдыхал; замедлял шаги или приостанавливался, проверяя, как долго сможет выдержать неподвижность. Укреплял твердость духа, чтобы невозмутимо прошествовать мимо курилок. В один из таких перерывов вдруг вспомнилось, как дня два назад он обдумывал некую мысль в приступе мании формулирования, напомнившей Ц. «речи к народу», что в полудреме произносили иные здешние пациенты. Впрочем, его речь была обращена не к «народу»; к тому же сочинялась она наяву, когда

пятнадцатичасовой сон ненадолго прервался. Он представлял, что пишет письмо в министерство культуры, и предложения, складывавшиеся в голове, казались Ц. неотразимо убедительными. Он замыслил ходатайствовать о продлении визы на выезд… (прошлой визы, как теперь приходится добавлять). Формулировки должны быть пронизаны легкой иронией:

«Вам, господин министр, вероятно, еще не доложили, что я до сих пор не вернулся в ГДР. Это не что иное, как знак того, что мое пребывание в ФРГ принесло результаты. Результаты не только в плане литературном, но и в том смысле, что я осознал себя индивидом, коего вы обозначили бы как *гражданин ГДР.* Отсюда встает вопрос о моем возвращении, который я и хочу с вами обсудить. Вы спросите: „Почему же он не садится в поезд и не возвращается в ГДР?" Причина двояка. Какое-то время назад я вступил в некие межличностные отношения, от сохранения которых, можно сказать, завишу. Вторая причина: давно работая над одним масштабным литературным проектом, я должен избегать поездок и связанных с ними длительных перерывов, так как они, по всей вероятности, разрушительно сказались бы на единстве текста. Посему для продления

или же возобновления моей туристической визы предлагаю прибегнуть к услугам почты. Исходя из вашего согласия, высылаю свой заграничный паспорт в постоянное представительство ГДР в Бонне с тем, чтобы мне оформили новую визу…»

Формулировки были сочтены удачными, письмо подчинено ясной логике; нужно как можно скорее добиться выписки, чтобы сесть за пишущую машинку. Решение успокоило Ц., он снова заснул. С тех пор прошло два дня, он позабыл этот сон наяву, как забывал все прочие сны.

При ближайшей встрече с врачом он сообщил о своем желании выписаться. После того как он дал расписку, что уходит под собственную ответственность и косвенный ущерб, могущий возникнуть вследствие данного поступка, готов компенсировать, — ворота открылись и он вышел в сероватый зябкий полуденный свет. Мимо особняков с палисадниками двинулся к электричке; несколько раз сбивался с пути, в тихом квартале не попадалось встречных, чтобы спросить дорогу. Царила недружелюбная тишина, какая бывает между праздниками; автомобили, припаркованные наполовину на тротуаре, затянул иней, в окнах хмуро мигали электрические гирлянды. Впереди встреча Нового года, поди

успей все переварить. В привокзальном киоске Ц. выпил кофе. Для пива было прохладно; рюмка шнапса была бы нелишней, однако он воздержался.

Не растрачиваясь больше на мысли о Мюнхене, он купил билет на ближайший поезд и отправился в Нюрнберг. Войдя через пару часов в квартиру, был приятно растроган. Мороз не выстудил комнаты: Гедда побывала здесь и включила газовое отопление — воздух в квартире быстро нагреется. Посуду Гедда тоже помыла и цветы на подоконниках полила. Дожидаясь, пока в комнатах потеплеет и заварится чай, он набрал ее номер. Она удивилась, что он дома: не ожидала, что вернется так быстро. Она в курсе всего, что случилось. Как назло, у нее на вечер билет в театр, но она, естественно, никуда не пойдет. Он сказал: жалко, если билет пропадет, пусть спокойно идет в театр.

— Нет, — сказала она. — Знаешь, я вообще не хочу в театр, меня просто уговорили. Я буду рада, если ты позже ко мне придешь.

Этой ночью он спал у Гедды, в квартирке на площади Шиллера, и ощущал тепло, какого давно не испытывал. На кухне горела лампа, он сидел под ней, предаваясь раздумьям, а она в своей

крошечной спальне спала и видела сны. Гедде каждую ночь снились сны, и наутро она умела вспомнить все до точки; его это восхищало. Все время, что он пробыл на площади Шиллера, он был в надежном прибежище, чувствовал умиротворенность и полное отсутствие всяческих желаний. В свое жилище на Кобергерштрассе всю неделю практически не заходил. Говорил мало, смотрел, как она кругами ходит по комнате, слушал ласковые попреки. Возражать не хотелось, он смиренно сидел за столом, пока Гедда, качая головой и смешно заламывая руки, подвергала анализу его пьянство и горячилась из-за действующих в нем механизмов саморазрушения. Он не уставал смотреть на нее, он понимал, что она самая красивая из всех женщин, какие ему встречались… да он никогда и не сомневался в этом, просто не повторял себе это каждый день. Если случится когда-нибудь ее потерять, думал он, ради лет, проведенных с ней, стоило жить.

Гедда была отнюдь не уверена в собственной красоте, с чем он нередко пытался сражаться. Но натыкался на стену, создавалось впечатление, словно он должен защищать ее от приговора какого-то третьего, объективного голоса. Мне лучше знать, ссылался Ц. на свое мужское виде-

ние, которое-де — по естественным причинам — превосходит ее женское, равно как и всякую объективность. На это Гедда смеялась:

— Хватит врать, какой из тебя мужчина.

— А я и не собираюсь им быть!

Она была хороша красотой женщины, уже оставившей позади то, что называют «молодость»; легкая предрасположенность к полноте нисколько ее не портила, а, напротив, словно бы наделяла силой, перед которой он, бывало, слегка робел. Временами она излучала такую энергию жизни… (Когда чувствовала себя любимой! — размышлял Ц.) Из-за этой энергии он, обыкновенно считавшийся «сильным», вдруг чувствовал себя каким-то хилым и неустойчивым. К тому же ее витальность расточалась бездумно, как будто помимо воли, отчего казалась поистине неиссякаемой. Оставаясь один, он часто мысленно видел перед собой Гедду, и от этого ее образ еще глубже врезался в память: как, бывало, она повернется к тебе лицом, когда говорит — беззащитно, с русской страстностью, какой не смогла отнять у нее даже жизнь в Германии, а еще с довеском иронии или внезапного опасения: вдруг ты с ней не согласен. Она могла говорить что угодно, ты соглашался со всем, когда на нее глядел. Когда

видел, как серовато-зеленые глаза на каждой сказанной фразе словно чуть расширяются, а губы, произнося слова, как будто вбирают в себя самое жизнь, чтобы почувствовать ее вкус и проверить на истинность. Вокруг глаз лучились тоненькие морщинки; неизвестно, от смешливости или печали они туда набежали. А когда он ночевал у себя на Кобергерштрассе, ему нередко чудилось, будто во сне он слышит ее голос.

Он сказал, что черновик и очки для чтения, вот незадача, так и остались Мюнхене. Она возразила, что очки можно купить и в Нюрнберге. А мюнхенская приятельница, если ей позвонить, быстро пришлет черновик. Когда листочки пришли по почте, они показались Ц. едва ли не жалкими. Несколько скверно написанных невразумительных строк, недозрелые воспоминания о заштатном гэдээровском городке.

В одну из ночей, когда он сидел у Гедды на кухне, выжидая, пока не устанет, ему вспомнился странный случай, приключившийся с ним в дороге, на пути между Западом и Востоком. В ту пору он жил, в основном, в городке Ханау и часто мотался назад, «туда» (с этим принятым на западе оборотом он, помнится, уже свыкся). Ездил поездом Франкфурт-Лейпциг и обратно

тем же маршрутом, и, вероятно, его лицо в этом вечно полупустом поезде уже примелькалось. Случай произошел на станции *Герстунген,* это был пограничный пункт… и, наверное, самый унылый вокзал на свете, всякий раз думал Ц. По вагону шли восточные пограничники, проверявшие паспорта. Во главе отряда — женщина, возможно чуть помоложе Ц. Видно, что выше других по званию. Она заулыбалась, взяв в руки загранпаспорт Ц., и сказала:

— Ну что, соскучились, пора и домой?

Вопрос застиг Ц. врасплох, в купе он сидел один, к непринужденной беседе был не подготовлен.

— Ага, — кивнул он, — …пора!

Позже он размышлял, не произошла ли аберрация, не ехал ли он в тот день в Лейпциг, то есть в обратную сторону. Нет, он готов поклясться: поезд двигался в направлении Франкфурта, пограничница же спросила: ну что, пора и домой? А в руках держала, самым что ни на есть явственным образом, его темно-синий гэдээровский паспорт, который с красновато-коричневым фээргэшным ни за что не спутаешь. Он потому так уверен был в направлении, что записал эпизод, едва поезд тронулся. Кроме того, воспоминания о станции Герстунген всегда отличались почти

жалящей остротой.

Когда поезд шел из Лейпцига, он въезжал в вокзал на полном ходу, грохоча и раскачиваясь, и разом вставал, будто сорвали стоп-кран. Когда в Лейпциг — вереница вагонов медленно, робко, почти беззвучно останавливалась меж двух совершенно безлюдных голых платформ. Замирала, словно сдаваясь: все кончено, железный змей никогда уж не стронется с этого места. События прекращались, наступало слышимое безмолвие; потом начинало, бывало, чудиться, будто состав наполняется дальним гомоном птиц. Затем (всегда случалось одно и то же), после секунд бесконечности — робкое скрежетание где-то в одном из вагонов. И сразу мужской голос рявкает: «Окна не открывать!» Рама мгновенно взлетает вверх. В поезде, растворясь за пудовыми чемоданами, горстка потерянных старичков, кроме них, пассажиров нет, никто в ГДР больше не ездит. За закрытым окном ты видишь бетонную стену, светло-серую, без начала и без конца, длиннее целого поезда, ее равномерность прорезается только столбами-опорами. Она доходит почти до самой крыши перрона, но остается щель, за которой маячат голые бетонные сооружения, такие же серенькие, с окнами из мутно-серого молоч-

ного стекла. Перед стеной — пустой сероватый бетонный перрон, напротив, с другой стороны поезда, та же картина. Архитектура сибирского лагеря, измышление сероватых умов, плод презрения к человечеству (в этой форме зла Ц. не находил ни малейшей прелести). В перекрытии все же зияет дыра, и, подняв глаза, можно увидеть небо: все та же серая белизна, похожая на свинец, начавший плавиться на жаре. И очень возможно, что в этом бесшовном бесцветном вырезе бесконечности лениво кружит взъерошенная пичуга. Перрон оживляют лишь апельсиново-желтые контейнеры, расставленные через равные промежутки. На каждом надпись *«газеты».* И действительно, вскоре ты видишь, как трое людей в голубовато-серой униформе опускают в прорези этих контейнеров пачки газет. Это оставшиеся в поезде газеты ФРГ: *«Билъд», «Ди бунте»,* футбольный журнал *«Дер Кикер»,* листок Немецкой коммунистической партии *«Ди вархайт», «Дойче натьонал — унд золдатенцайтунг».* Двое заталкивают в прорези газеты, третий стоит рядом, следит, чтобы все до последнего листка исчезло в контейнере. Наконец слышится лай: это собаки, которых натаскали на обнюхивание пространств под вагонами; собак, конечно, за-

действуют, только когда прибудет встречный состав… и, похоже, его прибытие ожидается. Так и есть, незримая за бетонной стеной вереница вагонов визжит тормозами. Вновь становится тихо, только собаки — рефлекс Павлова в действии — тявкают злобно. После долгих минут тишины все опять приходит в движение: хлопанье дверей, гул голосов; по вагонам спешат чиновники погранично-таможенной службы. Как бы то ни было, им удается создать впечатление спешки. Весело переговариваются вполголоса, вероятно действуют по инструкции: проходя по вагонам, непринужденно болтать на личные темы. Держатся *суверенно; суверенитет* — любимое слово в стране, куда направляется Ц. Явственно хлопнув дверью, они выходят, пройдя весь поезд, и вскоре, продолжая болтать, проходят под окнами; хруст шагов по рассыпающемуся бетону, нарастающая жара, тишина. Затем снова движение: пришел час таможни, вся процедура повторяется заново. Двери открылись, двери закрылись; павловский рефлекс болтовни, в промежутках — казенные формулы речи перед каждым купе, в котором кто-нибудь есть. Пересчитать нетрудно: в поезде около двадцати пассажиров. Вот таможня ушла, время снова спеклось в тишину. Жара, распад,

небытие. Наконец локомотив скоростного поезда, что явно используют не по назначению, коротко откашливается. Затем — дребезжание и грохот, передвижной буфет *Митрона*, отделение *Интершопа* маневрирует по вагонам. Завидев редкого пассажира, продавщица громогласно уведомляет:

— Пиво! Кола! Фанта! Сигареты! На западные, естественно! — поясняет она.

Приближаясь к Ц., она вопит, как будто вокруг толпа покупателей:

— Пиво! Кола! Сигареты!

Ц. не движется. Она повторяет свой зов на полтона настойчивее. С садистским бесстрастием Ц. безотрывно глядит в окно и не шевелится. Вот она распахнула дверь — вдруг он не слышит? — и снова кричит:

— Пиво… Кола… Фанта… Сигареты…

Он поворачивается:

— Спасибо, не нужно.

Она желает ему счастливой дороги и катит дальше свою дребезжащую колымагу.

Ц. вынимает из сумки банку пива, купленную еще в Ханау, горячую, как кипяток. Срывая колечко, забрызгивает пеной все купе; у пива металлический горький привкус. Он даже и не

заметил, как поезд тронулся и с черепашьей скоростью выкатил из вокзала. В конце перрона пробегает глазами, как делает всегда, — большой транспарант, на котором стоят слова: «Приветствуем дорогих пассажиров в *Германской Демократической Республике!*»

Он задумался о том, что все процедуры, от которых только что убежал, на обратном пути продлятся, пожалуй еще дольше. Уместно ли слово «обратно» для этих раздумий? На обратном пути пространства между осями вагонов станут осматривать зеркалами, закрепленными на длинных шестах, под поезд загонят ищеек, в вагонах отвинтят обшивку, человек в униформе встанет на специально для этой цели изготовленную стремянку и длинным фонариком будет светить в открывающиеся отверстия. «Что они делают с моим временем!» — думает Ц.; этот вопрос привит ему навсегда. Они с Геддой лягут в постель, а в голове все еще будет стучать: «Что они творят с моим временем, эти существа? Со временем, которое принадлежит мне…»

Поезд, на который он собирался пересесть в Лейпциге, конечно, уже ушел, придется ждать следующего, оставалось полтора часа. Он вышел из вокзала, решив прогуляться по Лейпцигу, но

погода резко переменилась; дождливо и холодно. Город казался безжизненным, закоснелым, подавленным… пару недель назад он побывал в Вене, выступал со своими стихами, и она показалась ему столь же странно пустынной. На трамвайной остановке перед вокзалом съежились редкие группки людей, лишь в отдалении, на стоянке такси, образовалась очередь, терпеливо чего-то ждущая, хотя никаких такси нет и в помине. Из тумана возник мелкий дождь, в лучах желтовато-красных огней над трамвайными рельсами клубится морось. Соединившись с пылью на площади, сырость становится грязной и липкой пленкой, на которой легко поскользнуться. А с козырька остановки как будто сочится жирными желтыми каплями все то же грязное вещество; вот летит облако мокрой пыли, это подъехал трамвай. Над размякшей грязью курится дым, пахнет сгоревшим углем, весь город словно подернут нерастворимой слизью пепла, дождя и копоти.

Меньше месяца назад в местечке под названием Чернобыль, Украинская ССР, случилась атомная авария. Взорвался реакторный блок тамошней ядерной электростанции, радиоактивный пар выбросило далеко в атмосферу.

Дождевые тучи двинулись в сторону Запада. Вена в начале мая была охвачена паникой. На Западе перестали есть зелень, хотя никаких дождей там пока что не пролилось. О людях, у которых водились деньги, известно было, что они драпают на Канары; туризм процветал. А на Востоке, где овощи все равно в дефиците, никто ни о чем не тревожился и жижа из прохудившихся водостоков преспокойно капала гражданам на затылки.

С тех пор как он приехал на Запад, Ц. почти не интересовался новостями, сообщаемыми в газетах. Это, казалось ему, такая хитрость соцблока: в ГДР ты считал себя в курсе последних событий, когда до отвала насыщался газетными и телевизионными репортажами, расшифровывал криптограммы официальных коммюнике, читал слева направо, справа налево и между строк речи всех председателей. Теперь все опрокинулось кверху дном, он уже ничего не знал ни про политику, ни про спорт, ни про новейшие практики получения полового удовольствия. Если бы чернобыльская история не вспугнула людей так сильно, он проглядел бы ее точно так же, как проглядел, к примеру, Сеульскую олимпиаду… а раньше, бывало, ни одного олимпийского соревнования по телевизору не пропустит. Сейчас

же пренебрежительно именовал все это мероприятие «холодной мировой войной». А когда услышал про скандалы с допингами, утвердился в своей правоте… иллюзии разбивались одна за другой, и он замечал, что заполнять возникшие дыры не так-то просто. Замены не появлялось; медленно, но верно он вступал в тот возраст, когда начинаешь догадываться, что жизнь, в основном, и состоит из иллюзий.

Чернобыль привел к тому, что он снова стал покупать газеты. В результате в квартире стряслось что-то вроде той самой «минимальной проектной аварии»: непрочитанные газеты громоздились по всем углам и стесняли свободу передвижений. Казалось, воздух был отравлен ядовитыми испарениями типографской краски; он поминутно сбегал из своей обители, превратившейся в неистощимый архив журналистской бездарности. Усевшись за стол, с трудом втиснув крошечную тетрадку между штабелями газет, он поднимал глаза и видел пласт невостребованной печатной продукции: этот пласт таил в себе столько потенциальных возможностей сделать ошибку в употреблении сослагательного наклонения, что Ц. немедленно падал духом.

В школе ему так и не удалось хоть немножко

выучить русский — лет шесть над ним тщетно бились различные педагоги, — этому он и приписывал катастрофическую оплошность, какую порой допускал, путая существительные «Чернобыль» и «перестройка», впрочем не на трезвую голову. А может, в том был повинен сам главный изобретатель всех новомодных слов, в безукоризненном произношении каковых усердно тренировался сегодня западный европеец. Из горбачевского окружения (то есть, как полагал Ц., прямо из КГБ) сообщалось, что в Чернобыле наблюдаются немногочисленные ожоги легкой и средней тяжести, пострадавшие-де идут на поправку. В западной прессе писали о несметном числе погибших. Любые вербальные заявления любой мыслимой власти сызмальства его травмировали… это, должно быть, он унаследовал от деда, который, бывало, над угрозами смеялся, а когда сулили всеобщее благоденствие, покрывался холодной испариной. Ц. вспоминал, как в школе, взамен краеведения, ввели новый предмет, гражданскую оборону; произошло это, конечно, еще до марта 1953 года. Сияя глазами и брызжа слюной от волнения, учитель втолковывал классу, что энергии распада, полученной из одного-единственного брикета, хватит на то, чтобы растопить

арктические льды. И тогда станет возможно — в щедро обустроенных лабораториях Мичурина и Лысенко уже ведутся серии экспериментов — собирать в сибирской тундре урожаи гигантских бананов в три четверти метра. Гольфстрим повернут вспять, поперек Берингова пролива соорудят плотины… И вот в гигантской советской империи строят сравнительно небольшую АЭС, и всякая вера в прогресс летит в тартарары.

На Востоке так называемый человек улицы, ссылаясь на положение в собственном государстве и во всех остальных соцстранах, решительно защищал свободу прессы. Ц. не составлял собой исключения, свободу мнений, свободу информации считал неотъемлемой необходимостью, не изменил своего мнения и на Западе. Сегодня он каждый день лицезрел последствия этой свободы. При этом не помогали самоуверения, что если верен принцип, то с порядками нужно смириться. Он все чаще задавался вопросом, есть ли у принципа хоть один шанс против подмявших его под себя порядков. Свобода прессы, что уж там говорить, докатилась до свободы любую вещь, все равно, какого рода, обрабатывать до тех пор, пока вещь эта не приобретет товарный вид… Любые факты и не-факты (все, что можно

хоть как-то продемонстрировать или облечь в слова) должны продаваться, а для этого все знаки и образы хороши. Если после такой обработки остается хоть какая-то доля ценности и правды, то не благодаря основам демократии, а лишь по случайности.

Ц. пришлось в душе признаться, что его постигло жестокое разочарование. Разумеется, он схоронил его в тайне (коренные жители западных земель, как правило, такое высмеивают). С жестоко разочарованным сердцем покупал газеты, временами даже почитывал. Но читал иначе, чем раньше, читал не для информации, а для развлечения. Вещи, от которых вроде бы должно становиться жутко — Чернобыль, озоновая дыра, погибшие от наркотиков, войны в Афганистане и Анголе, СПИД, — достигали сознания только отрывочно, по сути, ему нет до них дела: он читает газеты, с тем чтобы развеяться. И все реже его охватывал ужас по поводу того, что он читает кошмарные репортажи, с тем чтобы отвлечься.

Наверное, это шаг на пути превращения в «бундеса», думал он. Книжки слишком сложны и не дают рассеяться. Вот мы и читаем газеты, в которых пестрым пестро.

Когда доходило до этих мыслей, то подкатывала

тошнота, которая через пару секунд превращалась в столбняк; он не умел описать свое состояние, он знал доподлинно только одно: *это невыносимо!* Если не приложить все старания к тому, чтоб состояние это вытеснить, то что-то произойдет! — думал он. Нередко проходило больше часу, прежде чем удавалось встать, выйти из дому и добрести до пивной, — в холодильнике всегда хранилась на этот случай бутылка шнапса.

Сидя потом внизу, в пивной, он начинал беззвучно посмеиваться. Вообще-то он с неизменным скепсисом слушал рассказы других писателей о том, как они страдают (Гедда не в счет; та свои ужасы скорее преуменьшает), казалось, многие используют боль для оправдания своего писательства; этот упрек он и к себе относил. Но при этом каким-то запутанным образом и сам верил в творческий потенциал страдания (Гедда с этим не соглашалась, она утверждала, что боль лишь затыкает рот) и вечно подозревал себя в том, что ему подобного опыта недостает. По существу, он всегда писал одной левой, не глядя в текст, вытекавший без всяких усилий. Ни разу в жизни не потрудился по-настоящему, все делал походя, как будто вчерне. Настоящее впереди, всегда думал он, словно располагал неограниченным

временем. И вот скоро пятьдесят стукнет, меньше трех лет осталось, «настоящему» давно бы пора настать… тут-то все вконец и разладилось!

Его захлестывал ужас, от которого не отгородишься. Понятно, что эта страна за кордоном, эта самая ГДР — нелепый отсталый анклав, где литература на самом-то деле мало что значит; ажиотаж вокруг литературы в странах Восточного блока — надуманное представление… но, как бы то ни было, там он писал, волнами ажиотажа и его выносило к читателям. А здесь литература катится под гору, это самоочевидно. Литература, которая отказывается служить развлечению, карается на рынке отсутствием внимания… недаром на этом рынке задействованы все рычаги для увеселения публики; чем успешнее развлечение — тем лучше оно продается. Почти каждую неделю Ц. узнавал из газет, читаемых для развлечения, что-нибудь о *конце литературы.* До сих пор он не относился к этому серьезно; пребывая в центре ажиотажа, трудно почувствовать приближение конца. Пока не сообразил, что литературная жизнь потому так и суетится, что надобно затушевать конец. На гульбище сзывают мертвецов, если искаженно процитировать Эзру Паунда…

Не иначе я накрепко сжился с этим самым концом литературы, у меня вообще все разладилось, думал он, посмеиваясь, пока его не прошибло дрожью. Две юные девы за стойкой, очевидно, это заметили: они старательно отводили глаза. Опять этот гэдээровский дядька водку хлещет, думали девы. Послушаешь их, так бедные-бедные, а как водку глушить — так это пожалуйста. Машин нормальных нету, а на выпивку денег хватает. А мы ему напоминай, что вот-вот закрываемся! Как в прошлый раз, тогда тоже сидел до последнего… будто прирос. Барышни перекивнулись, по младенческим губкам скользнула улыбка; обеим, должно быть, под тридцать, а на вид не больше семнадцати. Изредка они легонько поводили узкими плечиками в такт этой песне, он уже слышал ее недавно в одном супермаркете. Когда он протягивал к стойке пустой стакан, барышни, надо отдать им должное, становились внимательно-вежливы.

Так вот она, стало быть, окаянная мука писательства, которой ему так мучительно недоставало: ни строчки не вывести, чтобы не содрогнуться от отвращения! А одобрение, каким его награждают за нападки на систему и тамошний режим, не менее отвратительно. Нет ему места в литератур-

ном сообществе, где все сводится к одобрению… времена критицизма в литературе прошли, миновали модным поветрием — бурным красно-байством до кончика бороды. И видно, пришло ему время седеть и стареть вместе с этими бородами. Ему нет места в этом сообществе, как нет ему места и в этой пивной, именуемой «Касабланка». Увешанной, ясное дело, портретами Хэмфри Богарта; Хэмфри Богарт с Ингрид Бергман и без нее, это и есть постмодернистский стиль…

Но был ли он раньше причастен… к какой-нибудь стороне, той или этой? Честно сказать, навесь на него кто-нибудь какой-то ярлык, он воспринял бы это как наглость.

Короткий пеший маршрут от «Касабланки» до Кобергерштрассе оказался достаточно протяженным, чтобы с досадой установить прискорбный факт недопития. Если не довести алкогольную массу до необходимого уровня, то он, чего доброго, соблазнится рабочим столом, уповая на фразу, которая станет началом нового дня. Это случалось уже не раз, весь стол завален листочками с такими начальными предложениями, истекавшими, все как одно, многоточием. Ни одно из них он не счел достойным продолжения; все они выспренные, раздутые, притворные; иной

раз он с трудом улавливал смысл. Едва ли не каждое начиналось словечком «Я»… уже одно это вызывало в нем такую агрессию, что он щелчком пальцев сметал листок со стола. Обозначение «Я» немедленно порождало импотенцию…

В округе было сколько угодно других пивных; через считанные минуты он уже воссел на высокий табурет перед новой стойкой. В зеркале, за спиной у бармена, Ц. увидел свое отражение: он сидел накренившись, облокотясь на правую руку, в двух пальцах зажата сигарета, вертикальная струйка дыма ползет наверх. На уровне груди — наполовину опорожненный стакан, сверху — бледная одутловатая физиономия… Боксер в состоянии «грогги», думал он, когда видел себя таким. У него хранилась одна фотокарточка, он никогда никому ее не показывал. Его засняли в минуту, когда он пытается встать из нокаута; он еще на коленях, рука вяло нашаривает канат. Глаза распахнуты в ужасе, кромешная тьма, похоже, уже отступила, но четких образов взгляд еще не фиксирует. Рефери рядом с ним, как видно по движению руки, его уже отсчитал. Ц. всегда прятал эту подлую карточку, даже от самого себя, а когда она случайно попадалась ему на глаза, вперялся в нее так пристально, будто на ней

показан единственный миг в его жизни, когда проступило его истинное «Я».

* * *

Хотя пластинки практически ушли из продажи — музыкальная индустрия давно перестроилась на производство компактов, — Ц. с год назад приобрел проигрыватель. Устройство досталось ему почти даром, на распродаже квартирного имущества после смерти хозяина; они с Геддой прочли объявление и поехали на ее «фордике» по адресу, указанному в газете. Поехали, собственно, ради комода (скомканные полотенца, трусы и пижамы так и валялись клубком на книжных полках), но Ц. увидел лишь чудный антрацитовый проигрыватель. Заплаканные люди в черном заметно обрадовались тому, что на эту штуковину кто-то позарился. Нагруженный громыхающей четырехугольной бандурой и двумя колонками, под градом отчаянных насмешек Гедды, которая никак не могла смириться с его пропылившимся исподним, «фордик» тронулся в путь.

Проигрыватель стал новой преградой на пути к письменному столу; теперь Ц. вынужден был целыми днями прочесывать, город в поисках пластинок, продававшихся за бесценок на бара-

холках или за баснословные антикварные суммы в музыкальных лавочках. Он не стал намного лучше знать Нюрнберг, выяснил только, что трактиров и ресторанов в городе несусветное множество. Нюрнберг был опутан поистине устрашающей инфраструктурой спиртозаправок, и страдать от дефицита там, где царит идеальное снабжение, оказалось непросто. А он поминутно начинал новую жизнь, решаясь к своему синдрому дефицита относиться сознательно и синдром этот превозмогать выдержкой. Любых кафе по возможности избегал, а если и случалось вдруг туда заглянуть, то заказывал только кофе и минеральную воду, что самому же казалось унылым эрзацем.

Как-то раз, когда Ц., в разладе с собой, топтался перед одним ресторанчиком в северной части центра, его вдруг окликнули. Перед ним стояла женщина, которую он, несмотря на явственно подаваемые ею сигналы узнавания, все же не узнавал. Он сказал наобум, что времени у него, конечно, мало, но кофе выпить необходимо. Не составит ли она ему компанию на полчасика. «Ой, — смутилась она, — а вы непременно хотите сюда? Давайте что-нибудь другое поищем». И, легко подхватив его под локоть, оттеснила от входа.

Это едва ощутимое касание ее руки напомнило: однажды она его уже уводила, в Нюрнберге, после чтений. Женщина сидела в зрительном зале. Взяла автограф, а после предложила подвезти до Кобергерштрассе: сама, мол, на ней живу, в одном из соседних домов. И этой легкой, как перышко, ручкой отрядила к машине. Обескураженных братьев с Востока, подумал он, у нас в стране положено опекать, и остальная публика, когда у нее из-под носа уводят автора, смиряется с неизбежностью. В машине она спросила, знает ли он, что это уже вторая книга, которую он ей подписал. Помнит ли он свое выступление в Регенсбурге. Впрочем, он, наверное, так много ездит и стольких людей встречает — всех не упомнишь.

Он считал свою память неподатливой от природы, алкоголь всемерно способствовал этому недостатку; куда меньше повинно в этом разнообразие дорожной писательской жизни… романтические идеи! Но сейчас его вдруг осенило: за год до выдачи годовой визы его ненадолго уже выпускали — на чтения в Регенсбург. И после тех регенсбургских чтений, влекомый той же рукой, он брел к той же самой машине; вторая рука держала зонтик над его головой: хлестал такой ливень, что до гостиницы было не добе-

жать. Края зонта закрывали ему обзор, вслепую, не разбирая дороги он шагал через водные хляби, целиком доверившись трем намагниченным пальчикам, державшим его под локоть; Регенсбург, загадочный Запад, статус-кво, холодная война, идиотизм этого мира — все на мгновение потонуло в неистовой буре, извергавшей на пугающе крохотную жестянку автомобиля громы, молнии и оглушительные потоки. Уже в машине он заметил, что на заднем сиденье съежилось, не произнося ни звука и, как видно, в стремлении сделаться незримым, еще одно существо женского пола. Лишь много позже он узнал, что сзади сидела Гедда.

А потом на лейпцигский адрес прислали куртку из желтой кожи — ее прислала та самая женщина, что стояла сейчас перед Ц. К посылке прилагалась записка: он тогда в Регенсбурге, писала она, был так легко одет. А поскольку грозы бывают и в Лейпциге, не только в городе Регенсбурге (который само имя обязывает к дождям), то пусть он, пожалуйста, примет в подарок куртку. Посылку, судя по штемпелю, отправили уже из Нюрнберга.

— Наконец у меня появилась возможность сказать вам спасибо за куртку, — сказал Ц., — тогда

в Нюрнберге у меня это совершенно вылетело в головы. Извините. Я даже не написал вам, не отозвался никак. А ведь куртка пришлась впору.

— В Нюрнберге вы, наверное, и не помнили, кто я такая. А письмо мое было глупое, имя Регенсбург вовсе не от слова «дождь», а вроде как от крепости регента или что-то в этом духе.

— Для меня это тоже новость, — сказал Ц. — Может — сюда?

Они стояли у входа в очередной ресторанчик, но ей, похоже, опять не нравилось.

— Или туда. — Ц. махнул рукой на другую сторону улицы. — Там вон сразу два. Или даже три…

Он чувствовал ее сопротивление, но возражать она не стала и наконец последовала за ним. Войдя, он сразу сообразил, почему она колебалась: в сумеречном, зияющем пустотой зале — разве что на высоких табуретах дуют пиво два или три субъекта в бесшабашно пестрых рубахах, с ювелирными коллекциями на шеях, руках и в ушах, — в глубине, за стойкой, стоял телевизор; на экране кучка нагих человеческих тел с акробатической ловкостью совокуплялась; сквозь склизкую музыку неслись упоенные причитания участников. Ц. испуганно взглянул: не рванет ли спутница к выходу, но та храбро уселась спиной

к экрану, за угловой столик; он занял место напротив. От стойки, шаркая ногами, отделилась женщина… от самых поганых мыслей он, вообще-то, старался себя оберегать, но эту женщину иначе как засаленной испитой старой каргой не назовешь… Она склонилась, просунувшись между их головами, и спросила, осклабившись, чего они желают. Ц. спросил два кофе; когда их принесли, он сразу же расплатился. Женщина, не считая, высыпала мелочь в карман фартука и отошла; Ц. спросил:

— Может, уйдем отсюда?

Когда спутница робко кивнула, он выпил обе чашки и поднялся.

— Извините, — сказал он, когда они вышли на улицу, — я не знал, что так будет.

— Ничего страшного, получилось небезынтересно, — отозвалась она. — Но приходите-ка лучше пить кофе ко мне домой, я ведь вас уже приглашала…

Оказавшись в своей квартире, он попытался припомнить те регенсбургские чтения. Это было почти невозможно: перед глазами была полумгла, туманные водянистые образы, блеклые цветовые пятна неоновых вывесок, сверкание омытых струями автомобилей, витрины за пе-

леной дождя, сырая одежда клубится паром, забрызганные стекла очков даже в зале, когда он читает, квакая, как квакуша, грязня запинками текст, и хлопки фонтанчиками растекаются в разные стороны. Уже в поезде, по дороге обратно, Запад полностью скрылся из виду — в стекла безостановочно бил дождевой шквал.

— Только смотрите не подхватите крупозное в нашем проклятом капитализме, — говорили ему.

— Неплохая мысль, — отвечал он. — Тогда мне придется сперва подлечиться. Сколько такое обычно длится?

— Мы найдем врачей, если захотите остаться подольше, вам организуют воспаление легких.

Подобные разговоры он вспоминал потом, в Лейпциге; они озаряли Запад особым светом, перед которым меркло даже воспоминание о холодном дожде, что лил весь остаток лета. Была в этих речах теплота и беспечность, которых ему, когда он вернулся в Лейпциг, хронически недоставало.

Лейпцигом владела недвижность, *полоса депрессии,* как Ц. называл это время; ни одна живая душа не ведала, как выйти из этого состояния. С обеих сторон так называемого железного за-

навеса стояли атомные ракеты — крохотной доли хватит на уничтожение всего сущего — и таращились друг на друга: между ними — территория возможного взрыва, две Германии. Стороной восточной правила кряжистая фигура, именуемая Черненко, льдисто-сизый покойник с окоченелым лицом, которого время от времени выставляли на Красной площади, где он не шевелясь стоял на трибуне, зажатый между своих генералов; при малейшем движении этого зловещего монумента наверняка раздался бы скрежет и хруст ледяного тороса. Считалось, что он недвижим, поскольку привинчен спиной к деревянным подпоркам. Западным полушарием правил другой раковый больной, казавшийся чуть более подвижным лишь по той причине, что когда-то играл в Голливуде. Однажды Ц. пришлось выступать в университете калифорнийского города Санта-Барбара, и у него создалось впечатление, что этот уже смененный в должности американский президент полностью держал городишко под ногтем. Белесый от зноя, городок лежал кротко и тихо, разве что в гавани да в университете проистекала жизнь. Все остальное, казалось, служило в танковой армии, охраняя располагавшееся неподалеку ранчо, в котором

забаррикадировался Рональд Рейган.

Холодная война вымерзла до превращения в вечные льды. Поколения молодых гэдээровских граждан томились одним желанием — сбежать на Запад, а те, что постарше и уже пригнездились, помышляли исключительно о *западных марках,* за них в мгновение ока доставался любой предмет, любой гарнитур для ванной, любая запчасть или зубной протез; ни один сантехник, кровельщик или обойщик не соглашался халтурить после рабочего дня за восточные. *Запад* стал для восточных людей смыслом жизни… и когда это произносилось вслух, то никто уже даже не спорил.

Ц. не относился к числу тех, для кого Запад являлся единственной праведной целью; на первые приглашения он, увиливая как мог, даже ответил отказом. Потом все-таки трижды съездил, всегда ненадолго; единственным страстным желанием были книги, которые в ГДР (даже за западные марки: в сферах духа власть твердой валюты кончалась) для него были недосягаемы. И тут он вдруг получает письмо, и некое академическое учреждение ФРГ предлагает ему стипендию… произошло это почти сразу после того, как цэкашный шкаф-Черненко наконец официально был

объявлен мертвым и погребен, а у руля оказался новый кремлевский муж, произносивший речи, звучавшие весьма неожиданно. С этими событиями навсегда связалось в его памяти то письмо из ФРГ; как будто кто-то решил проверить, что в новых речах правда, а что нет. Стипендию посулили большую, на целый год; сейчас апрель, и до ноября у него есть время, чтобы решиться… решиться, хочет ли он год пожить на Западе, да и похлопотать о том, чтобы это осуществилось. Валюту, разумеется, выплатят только на территории ее действия.

Пораскинув мозгами, он согласился, послал письмо, приложил открытку с почтовой маркой; не прошло и десяти дней, как открытка вернулась, снабженная подписями и печатью того западного учреждения. Мысль о том, что печать могли шлепнуть на красную открытку и в Штази, он решил исключить… согласие они получили, у него гора с плеч свалилась. От Моны, своей подруги, в тесноватой, меньше пятидесяти квадратных метров, квартирке которой он жил в Лейпциге, Ц. свой шаг к новой жизни поначалу скрывал. Как скрывал и первые формуляры, всю эту нудную тягомотину, без которой сейчас было не обойтись. Но она, конечно же, быстро расчуха-

ла, в чем дело, и возмутилась.

— Ты бросаешь меня одну на целый год!

Она озвучила тот единственный вывод, к которому пришла, наблюдая его коварные происки; Ц. это показалось неубедительным.

— Вот видишь — заявление отклонили, — сказал он, кладя ей под нос письмо из министерства культуры.

— Времени у тебя достаточно, уж как-нибудь да изловчишься. Твой друг, между прочим, ни за что не поехал бы за границу без своей.

Под другом Мона имела в виду писателя Г., жившего по соседству, на Георг-Шварцштрассе; с известных пор отношения их осложнились, чтоб не сказать испортились; Ц. предполагал, что виной тому были его прежние выезды, из-за них между ними и пробежала черная кошка. Друг был женат на *своей*, но эта бумажная разница не признавалась Моной в качестве аргумента. «Ты считаешь, мы должны пожениться, чтобы нам дали семейную визу?» — крутилось на языке. Но он удержался. На подобное предложение руки и сердца Мона могла бы ответить согласием.

Г. полагал, что в проводимом политикой силы спектакле, в этой заранее просчитанной игре запретов и привилегий для творческой интелли-

генции нельзя участвовать, в противном случае ты неизбежно впадаешь в зависимость от правящей диктатуры; он на этом собаку съел, недаром когда-то сам состоял в этой партии. Наиболее явный способ раздачи слонов — это практика предоставления виз: ими выказывают одобрение и поощряют за благонадежность. Участвуя в этом, ты теряешь связь с чувствами обыкновенных людей, для которых нет привилегий.

В разговоре с одним из обыкновенных людей — бывшим коллегой, которого повстречал, когда навещал мать, — Ц. затронул этот вопрос, и ответ был такой:

— Если тебе предлагают скататься на Запад, а ты не едешь, то ты просто дурак!

Получив из министерства первый отказ, Ц. прислушался к себе, доискиваясь, какие эмоции испытывает по этому поводу. И первой мыслью было: «Не верю!» В первые два раза, что он ездил на Запад, вначале тоже приходил отказ, но после настойчивых напоминаний, при активном содействии пригласившей стороны, визу в последний момент все же давали. А ведь оба раза отказы были составлены куда жестче, чем сейчас. Вернувшись поздно вечером из пивной, он сидел на крохотной Мониной кухне, вчитываясь

в краткое категоричное послание и силясь найти в неутешительных строчках, пришедших из самого центра чиновничьей власти, хоть какое-то указание, которое поддавалось бы истолкованию в его пользу. Отказ был монолитен, обоснования не содержал, запятые стояли, где нужно… и все же в письме как будто сквозила минимальная, неподвластная логике неуверенность. Возможно, это объяснялось тем, что с замом, из чьей приемной пришел отказ, ему довелось познакомиться… тут он, положим, хватил через край, они не *знакомы,* просто однажды, по случаю прежних его заявлений, имели беседу, но с тех пор министр уже не казался ему непредсказуемым монстром.

Ц. решил начать свое новое заявление так: в ГДР он почти до своих сорока лет проработал в промышленности, беспрекословно выполняя свой трудовой долг, только потом, чуть ли не на пятом десятке, стал писателем на вольных хлебах — и полагает, что это случилось *поздно.* Для него это перелом, последствия коего нельзя расценивать только в положительном смысле. Хотя писательский труд и соответствует его назначению, самосознание его подорвано. Ему сейчас важно осознать свою идентичность, свою писательскую идентичность, составной частью

каковой (господин министр, как явствует из директив о культурной политике, опубликованных соответствующим министерством, придерживается того же мнения) является осознание себя гражданином страны, в которой трудишься. Но для формирования идентичности недостаточно внутренней перспективы, замкнутого внутреннего пространства, необходимо еще и сравнение, взгляд извне. Отрезка длиной в год для этой цели едва ли достаточно…

Его приятель Г. был совершенно прав! Подобной цидулькой он совершал именно то, в чем его упрекал Г.: сносился с официозом. Вел торг, говорил языком власти. Ввязывался в инсценировки чиновников. Носится со своей идентичностью как с писаной торбой и тут же готов ее сдать. Да еще просит того зама, чтобы он подсобил ему встать на ноги…

В портфельчике, том самом, в котором он таскал с места на место свои черновики, спрятана водка; Мона наверняка давно ее обнаружила. Вот он ее достал… прошел час, другой, он все сидел на кухне и пил; даже куртку снять не успел. Когда в дверях послышался шорох, он быстро спрятал бутылку. Но Мона, стоявшая в ночной рубашке в дверном проеме, конечно же, почуяла сивуш-

ный запах. Он сидел в желтой куртке; на полу, на маленьком столике, рядом с пепельницей, в которой тлела гора окурков, — повсюду валялись листы бумаги. Мона смотрела в упор, но видела, кажется, только куртку. Помолчав чуть-чуть, она сказала:

— Ну, вот ты и спятил!

Возможно, Мона права, он лишился рассудка. Воздух на крохотной кухне сгустился в неведомое, не вполне уже газообразное вещество, пахло пожарищем. Он сидел в клубах дыма, и внутри тоже сгущался черный тлеющий дым; телом владел странный столбняк, он дергался, как автомат, только когда подносил бутылку к губам. Внутри кипела неописуемая ярость, ужасная изнурительная ненависть: как будто согласно теоретической инструкции, составленной чьей-то чернильной душой, — инструкции, из которой все выходы перекрыты с академическим педантизмом, — ему запрещают жизнь, вести которую — он в этом не виноват — его когда-то заставили. И он бился лбом об этот запрет и тупо, с бесконечным упрямством твердил: «Вы *дожиты* меня пустить, нет другого пути…

Если вы дадите мне визу, я, может, никуда и не поеду, но вы мне ее дадите. Дадите возможность

уехать из Кольхаазенбрюка!»

— Может, ты все-таки снимешь куртку, — сказала Мона. — Или ты и в постель пойдешь в кожаной куртке?

Мона недавно начала проходить курс аналитической терапии, ее глаз нацелен на распознавание подсознательных символических жестов. «Ты уже влез в свою западную шкуру», — говорит она. Начала она эту терапию, кстати сказать, по совету Г., который приятельствовал с одной психоаналитичкой. Хотя Мона это и отрицала, Ц. прочно утвердился в мысли, что именно он и есть та проблема Мониной жизни, какую следует подвергнуть анализу и лечению. В конце концов выяснилось, что ей предлагают лечь в какую-то клинику в Галле, чтобы там пройти курс психотерапии, который рассчитан сперва на четыре недели, но потом возможно продление; Ц. представилось что-то вроде реанимации. Неясно только одно — когда в Галле освободится для нее место. Вот уже несколько месяцев Мона ждала оттуда известий — и вдруг сообщили, что поскольку случай ее не острый, то ожидание может продлиться год или даже дольше. Ц. сказал:

— Возможно, оно и к лучшему, что ты поедешь в Галле уже после того, как у меня будет виза.

— Чтобы ты мог совсем со мной не считаться, — парировала она.

Очевидно, что в желтой куртке Мона его не терпит. Он все лето проносил ее не снимая; лишь в редкие дни воздух прогревался настолько, что рубашки было достаточно. Куртка была из мягкой и гладкой кожи, почти невесомой, длиной чуть ниже пояса; и так хорошо пригнана по фигуре, что создавалось чувство, будто она из той же материи, что он сам. Моне угодно было увидеть в куртке защитный кокон, которым он ограждается от нее, от близости с ней; однажды она вдруг взяла и накупила ему белья, *получше,* чем то, которое Ц. обычно носил. Он натянул было на себя эти тонкие разноцветные тряпочки, но скоро заметил, что начинает под ними потеть, под мышками пролегли красные рубцы; швы трусов из синтетического материала не вбирали влагу, и в скором времени стали цементными тросами, при ходьбе натиравшими кожу, трусам, очевидно, мешали его гениталии, и поскольку заставить сей орган исчезнуть трусы не могли, то стянули его в бесформенный влажный комок, о существовании которого Ц. ни на секунду не забывал. Стало понятно, что, хотя его пропорции нимало не изменились, новейшие модели во-

сточногерманского белья ему уже не подходят. Он регулярно забывал эти так называемые предметы текстиля у матери, к которой в тот год часто наведывался; и Мона, конечно же, замечала их исчезновение.

Приступы ярости, по мере того как лето катилось к осени, становились все реже, невзирая на алкоголь, который он принимал в неуменьшающихся дозах. А может — благодаря алкоголю, размягчавшему его мозг? Приходя после подобной ночи в себя, Ц. содрогался от ужаса: об этом потенциале ненависти, что таился у него в душе, он никогда не подозревал. Когда к двенадцати он продирал глаза, Моны в квартире уже не бывало, она работала кем-то вроде ассистентки на отделении американистики в университете и много могла бы порассказать о том, как коллеги перехватывают друг у друга проекты, предполагающие поездку в Англию или Америку: наветы и травля были обычным делом, когда хотелось выжить сотрудника, у которого «очередь» подоспела.

— Твои товарищи партийцы должны бы, по идее, страшиться ехать в империалистическую Америку, — говорил Ц.

— Видел бы ты, какие просительные письма

они строчат классовому врагу, чтобы их пригласили.

В Лейпциге стояла странная погода, так ему и запомнилось. Все время дождило, по десять раз на день, а потом вдруг опять прорывалось солнце. Мостовая еще блестит от влаги, а сквозь капанье и струение уже вовсю жарит солнце; грязное месиво, смытое вниз по течению улицы, собирается в воронкообразных выбоинах раздолбанной мостовой; из мусорных куч, разбросанных повсюду, лезет крапива, видно, как жадно прут в рост молодые побеги на влажном и знойном июльском воздухе. Однажды в зеленый оранжерейный покой горбатого закоулка вторгся чудовищный шум: начавшись часов в семь утра, он не стихал до наступления ночи. Георг-Шварцштрассе, улицу, по которой ходили трамваи, закрыли для движения транспорта из-за ремонтных работ, и теперь вереница машин, во главе с ревущими самосвалами и автобусами, ползла по горбатой узенькой Шпитташтрассе, чтобы добраться до Вайсенфельзер, въезд на которую, благодаря безграничной смекалке планировщиков, тоже закрыли. Этим хаосом Ц. объяснял свои почти ежедневные побеги в городишко М., где жила его мать. Мона хочет с ним спать, он это чувствовал.

Помимо того что она давно уязвлена его нежеланием сексуальной близости, это, вероятно, еще и самая элементарная из всех женских тактик по удержанию мужчины. И самое элементарное из всех женских заблуждений: мужчине, возможно, и удалось бы таким макаром удержать женщину, но не наоборот, думал Ц. Уж во всяком случае не такого, как он, который не удовлетворяет ее потребностей, а потому пребывает в вечном отступлении и конфликте с собой. Крайне редко выдаются минуты, когда его не пожирает чувство вины, и только, бывало, заметишь, что оно улетучилось, как уже опять начинает сосать под ложечкой. Сейчас четыре, подумал он, не пройдет и часа, как за дверью звякнут ее ключи. Картина почти каждый день одна и та же, вот она входит, во всей своей летней красе, немного уставшая, но с улыбкой, бросает сумку, падает на диван, пыхтит, как будто стометровку бежала. Расстегивает воротничок, приподнимает края блузки, чтобы воздух коснулся тела, и в то же время ловким движением скидывает босоножки…

— Принеси мне попить зеленого лимонаду, пожалуйста.

Ц. приносит из кухни зеленый, сильно газированный напиток и садится рядом на край дивана;

она меленькими глоточками пьет — и как ей удается пить лежа, чтоб в уши не затекало? После того как, балансируя в воздухе полупустым стаканом, она ставит его на стол, он наконец целует Мону, на верхней ее губе дрожит пузырек газировки. Пока он наклоняется, она левой рукой, еще чуть влажной, обвивает его затылок; он успевает подумать, что его поза неудачна и кривовата.

— Я тебя держу, — говорит она.

— Держи. Если хочешь.

— Какое великодушие, — язвительно говорит она и убирает руку.

Выпрямившись, он замечает, что ладонь его левой руки лежит на ее правой груди; он в сомнениях: оставить или убрать?

— Принести тебе еще стаканчик?

— У меня же осталось еще… вон на столе стоит.

Он зацепляет пальцем стакан, при этом ему удается заставить левую руку исчезнуть.

— Мне в туалет нужно, — говорит Мона, не прикасаясь к стакану.

Когда она возвращается, он уже снова сидит в своем дальнем углу, за доской, заменяющей письменный стол; воровато косясь, он видит слезы в ее глазах. Она нервно затягивается, он тоже курит; царит молчание, на улице под окном

свирепствует надоедливый транспортный шум.

— Ты, если хочешь, можешь отправляться в пивную, — говорит Мона чуть погодя. — Я не пойду, у меня дела.

Больше года назад — импотенция еще не настигла его вполне — он попытался научить Мону мастурбировать. Очевидно, из профилактических соображений, но напирая на то, что Монина сексуальная жизнь чрезвычайно обогатится. Мона принадлежала к той редкой и ценной породе женщин, которым *никогда* — утверждала она с неким язвительным возмущением в голосе — *такое* и в голову не приходило. Даже в период отрочества. Мона уже тогда, случалось, захаживала к той самой лейпцигской психоаналитичке и однажды — покраснев до корней волос, сказала она Ц. — затронула вопрос этого своего изъяна. Докторша испуганно вскинула брови и, вытаращив глаза, воскликнула: «Ну и ну! Что же с вами такое творили?» Это решило дело, Мона сказала, что попробует.

— А тебя правда возбудит, если ты будешь на это смотреть?

— Можешь не сомневаться, — ответил он.

— Но ты тогда тоже должен кончить, — потребовала она.

— Куда же я денусь.

Он нацарапал наспех записку в несколько слов и поспешил уйти до того, как Мона вернется. Текст всегда один и тот же, не обязательно и переписывать каждый раз заново: поехал к матери, не могу писать, на улице слишком шумно.

Но и не будь на улице слишком шумно, он все равно не мог бы писать, это точно. С тех пор как первое заявление отклонили, он почти ничего не пишет; каждый заново начинаемый текст изды-хает после первой же строчки… Вот дадут визу, и буду писать! Вечное обещание, только им он и держится. Да нет, пожалуй, уже и не держится. Импотенция завладела им во всех отношениях. Ему нужно сменить страну, систему, политический лагерь. А от этого окаянного народа нет ни малейшей поддержки. Ему нужно сменить погоду, сменить любовные связи, сменить весь мыслительный багаж. Больше сорока лет он прозябал в своей жизни, пришло время с этим покончить. Конечно же, он обещал министру вернуться, а как иначе? В прежней берлинской квартире на стене висел узкий плакат, так называемый постер, с изображением молокососа Артюра Рембо; внизу знаменитое: *Я — это другой.* Давно, еще до того, как фраза стала всемирно

известным штампом, он просиживал перед постером целые ночи, все прокручивая в голове эту мысль. К сожалению, какой-то гость этот постер увел. Наверняка прихватил его только потому, что «с Запада», но значит — есть еще в этой стране люди, кому подозрительна жизнь, которую выпекают для тебя государство, партия и общество. Выйдя из дому, он пересек Шпитташтрассе, прошел боковым переулком, спустился по Уландштрассе. Так удалось избежать столкновения с Моной, примерно в это время она обычно приходит с работы. Зато на Георг-Шварцштрассе он встретил друга, писателя Г.

— Ого! — сказал тот. — Кого мы видим! Чудеса, да и только! Я думал, ты уж давно на Западе.

— Наглядишься еще на меня, — сказал Ц. — Прошение отклонили. Я подал второй раз и третий, все без ответа.

— То есть дела идут не блестяще?

— Прикинулись мертвыми, дело известное.

— Считаешь, они еще оживут? Зачем ты ведешь торги с мертвецами?

— Говорят, ослабляют вожжи, буквально носом чую. Говорят, все чаще дают разрешения… про отказы, правда, ничего не слышно.

— Давай-ка сходим куда-нибудь выпить, ты

мне все и расскажешь.

— Нет, мне нужно на автовокзал, к матери хочу съездить.

— Никогда у тебя времени нет ни для кого. Просто перестаешь тебе верить. Пишешь хоть? На это времени хватает?

— Пытаюсь…

— Неубедительно. Я вот — пишу, постоянно и помногу, а все равно время есть!

— Мне пора…

— Я только что встретил Мону, она шла домой, вы, наверное, пересеклись? Она сказала, что ей с тобой не бог весть как хорошо.

— Сказала, говоришь… прости, мне пора…

— Тебя даже не интересует ее самочувствие?

— Достаточно того, что это интересует тебя… до свидания!

— Да успеешь ты на свой автобус, не бойся. Кроме того, можешь позволить себе такси.

— Да, могу. Привет Моне, если встретишь.

— По тебе видно — ты уже не наш человек.

— Я ничей человек.

— Нарочно перевираешь, научился кой-чему у своих покойничков наверху.

— Мой главный учитель — это ты…

Ц. поднял руку, — взвизгнув резиной, затормо-

зила машина.

— Живей! — рявкнул водитель. — Мне нельзя тут стоять.

Уже в машине Ц., обернувшись, увидел, как Г. стоит на тротуаре и, улыбаясь, машет ему рукой.

На вокзал он явился рановато, но, засидевшись в привокзальном кафе, автобус все-таки пропустил. На автобусе он прокатился бы с удовольствием: миновав южные окраины Лейпцига и долгие, до самого горизонта, голые равнины — бывшие угольные карьеры, напоминавшие местами пустыню где-нибудь на Луне, — автобус ехал по местности, казавшейся идиллической. Здесь, в этом южном уголке Саксонии, в ложбинах между зеленых холмов, таились заброшенные захолустья; узенькие шоссе, по которым никто не ездит, петляют вокруг густых первозданных рощ, повсюду разбросаны маленькие долины, напитанные водой, заросшие темно-зеленым камышом. Внезапно эти остатки пейзажа обрываются, впереди — карьеры, открытые разработки; водитель, приобретая широкий обзор, жмет на газ, и старенький драндулет, опасно кренясь, мчится по краю песчаных оврагов. Затем, приглушив скорость, рывками, взвывая на виражах, снова ныряет гирляндами поворотов, и с обеих

сторон волнуется ненасытно растущая зелень, уже отдающая в синеву. — Он едет домой, вот он запах этих мест, запах песка, перемешанного с золой, и сернистой воды его детства, и дымного воздуха, и разносимой ветром горечи жестких сухих тополиных листьев… Готфрид Бенн был не прав, они здесь, эти тополиные рощи. Конечно, это всего лишь убогие кривоватые недоростки, несравнимые с теми серовато-желтыми деревьями, что пышно растут на отвалах; в мае-июне тут случаются метели, полчища тополиного пуха взмывают ввысь; они так легки, что, поднявшись вверх в знойном воздухе, разлетаются на километры; когда вечерами приходит прохлада, они опадают на землю, чтобы сугробами лечь по краям дорог.

Г. был сыном писательницы и мать свою люто ненавидел, во всяком случае любил заявлять об этом во всеуслышание. Пару раз Ц. ее видел, она была маленькой, очень подвижной особой, излучавшей всем своим видом энергию убеждения и какую-то тупую назидательность. Г. корчило от боли, когда ему приходилось выслушивать неколебимые суждения матери обо всем и вся. И все же его магически тянет к ней, размышлял Ц.

— Ты ей нравишься, неинтеллектуальные

мужчины — ее слабость, — сказал как-то раз Г. — Но имей в виду, скоро она захочет с тобой переспать.

— Ну и что? Что в этом опасного?

— Она изнашивает мужчин, тебе придется делить ее с полдюжиной других.

— Ты вправду считаешь, что ей так просто удастся меня износить? — спросил Ц.

— И ты без всяких колебаний свяжешься со стопроцентной партийкой?

— Я в полной безопасности, — сказал Ц. — Ты за меня все подводные камни, видишь издалека.

В другой раз они снова заговорили о его матери, и Г. спросил:

— Хочешь знать, что она о тебе сказала, или лучше не надо?

В ответ на его молчание Г. продолжал:

— Я рассказывал ей о том, что ты делаешь, превозносил до небес твои стихи. А она, она только головой покачала и говорит: меня на мякине не проведешь. У поэта глаза — *не такие.*

Ц. невозмутимо выслушал эту речь и ничего не ответил, однако прекрасно почувствовал испытующий взгляд своего собеседника… устремленный, как видно, в его *глаза!* Он отметил тонкую ироничную складку в уголках его рта,

которая, как ему хорошо известно, быстро перерастает в сарказм: должно быть, Г. и сам немного верит в то, что сказала мать. Несмотря на его обычные уверения, что ее уста не источают ничего, кроме лжи.

Ц. умел надолго заболевать тем или иным высказыванием о собственной персоне, и Г. был, пожалуй, одним из немногих, кто знал об этой слабости. Ц. не догадался спросить, какие, интересно, глаза полагаются поэту; он предчувствовал, что фраза матери Г. будет стоить ему борьбы. Сперва он тихо ужаснется этим словам, потом впадет в бешенство, которое сменится подавленностью; лишь через несколько дней ему удастся вытеснить их из головы. Потребовалось несколько лет, прежде чем он смог сказать себе, что фраза представляла собой высказывание, весьма типичное для правящего мышления ГДР. В обществе научного материализма дерзают обходиться в жизни без аргументов и сыпят направо-налево нерациональными мистическими тезисами. Когда ему случалось, по наивности, отсылать в гэдээровские издательства свои тексты, то приходившие ответы все были в том же духе и повергали его в такую же депрессию. Чертовщина этих необоснованных отказов в том, что

тебе предоставляют право искать недостающие аргументы самостоятельно… и такие, конечно, находятся! Беспричинными, кстати сказать, отказы вовсе не считались — причины не назывались, это да… называть их бессмысленно, зачем растрачивать аргументацию на безнадежный случай. Надежда в условиях диктатуры распределяется по строгому регламенту. И точно так же дело обстоит с его заявлениями на выезд: отвечать на них необязательно…

Пропустив автобус, он обычно поездом добирался до районного центра А., откуда пригородная электричка привозила его к месту назначения. На Лейпцигском вокзале он залил шнапсом неприятные мысли, а пока час ждал в А. — добавил еще. Когда наконец доехал до матери, сразу рухнул в постель; перед тем как заснуть, подумал: интересно, как все развернется. Странное чувство — лежать на этой постели и думать о будущем: на этой кровати он родился…

Здесь, в этой постели, он начал жить, сам не зная как… не зная, как он стал тем, сам не зная чем. Зависть и неприязнь точат его на корню, писатели, точно стадо свиней, кусают друг друга в рыло, прокладывая дорогу к корыту. В ту пору, когда он еще не был писателем, публичным пи-

сателем, он был им полезен, служа объектом для всевозможных нот протеста, коими они обличали государство в подавлении искусства. Теперь, когда он сам стал публичным писателем, когда пытается идти своим путем — путем, на котором нередко приходится пробираться вслепую сквозь безнадежную мглу, — теперь он их не устраивает. Не годится на роль героя памфлетов, сочиняя которые становишься борцом сопротивления. Нужно оставить эти порядки, нужно исчезнуть из этой страны, повторял он снова и снова…

Ему казалось, будто предложенная стипендия приведет к решению всех проблем. — Нужна передышка, чтобы опомниться, сказал он себе. Взглянуть на все со стороны. Подумать, чего он, собственно, хочет и куда он, собственно, хочет. Год для таких раздумий — срок приемлемый. Когда ему прислали из Нюрнберга желтую куртку, Мона с особым оттенком в голосе произнесла: «Какая славная курточка на переходное время!» Он не вполне уловил, только ли это издевка или еще и страх. Ее догадка верна, он тоже понял слово *переходный* не только в демисезонном смысле — год он просуществует в переходном состоянии. Хотелось не только отведать западной жизни, но и понять — каким бы фразерством это ни звуча-

ло, — как обстоит с его собственной.

— Значит, наметил себе временную остановку? — спросила Мона.

— Правильно формулируешь, — ответил он.

— А сменить женщину за это время ты не намерен? — поинтересовалась Мона.

Он помнил, что дал ответ, прозвучавший твердым обещанием по окончании года вернуться к ней.

В полусонном мозгу вдруг возник образ матери Г., проворной, росту от силы метр шестьдесят, женщины, что выглядела на десять лет моложе своего возраста и подвизалась в амплуа ведущей писательницы района, в котором жила. Г. всегда интересовался ею — не столько, впрочем, по той понятной причине, что она его мать, сколько из страха за младшего брата, который, живя с матерью, подвергается-де всем дурным влияниям, какие только можно себе помыслить. Вместе с несовершеннолетним сыном она жила в доме на берегу большого озера в Мекленбурге; дом был построен на берегу озера, в лесу, и стоял на отшибе; она уже не раз проговаривалась, рассказывал Г., что иногда ей там страшновато. Так пусть переезжает в город, в одну из своих квартир, у нее их несколько, говорил Г. Но на это

она не пойдет — там, на озере, она не чувствует себя под надзором. Кроме того, может охмурять мужчин, которые приезжают сторожить ее вместе с домом. Был уговор, что Ц. тоже выступит в этой роли, будет охранять дом от грабителей, а заодно чинить к зиме подтекающие оконные рамы. Но когда они с Г. приехали в дом на озере, там уже устроился другой. По тому как сильно Ц. в первую минуту огорчился, стало понятно, что он многое себе возомнил, ожидая встречи с этой женщиной. Замечание Г., что мать когда-нибудь затащит его в постель, занозой сидело в памяти. Какие там нравственные колебания! Его интересует в этой женщине только телесный низ, найти применение ее мыслям ему вряд ли удастся. Пусть себе агитирует сколько влезет — идеологически убедительно, с сознанием собственной непогрешимости, в котором так преуспела ее партия, и женственно-материнским тоном, словно нужно заговорить упрямого дитятю — какая пленительная смесь! — известно, что между ног у нее непредсказуемая дыра, вмонтированная божественным оппонентом ее партии, о которого вдребезги разбивается весь атеизм ее научного мировоззрения. Она будет по-сучьи сладострастно повизгивать, когда к ней в пещеру вползет

классовый враг.

С этими мыслями Ц. провалился в сон. Мать разбудила его около полудня. Это было непривычно, обыкновенно она давала ему выспаться вволю, хоть до вечера; она знала, что сын всю ночь бодрствовал, в ее маленькой квартирке ему никто не мешает трудиться. Так повелось с тех пор, как мать вышла на пенсию, лет шесть назад, и перестала каждый день просиживать с восьми до четырех в конторе. Только в конце месяца, когда из-за нехватки рабочих рук начинался аврал и некому было рассчитывать зарплату, ее вызывали на предприятие. Это был как раз такой случай, поэтому Ц. удивился, что мать в обеденное время уже дома. Мона приехала, ждет уже больше часа, что-то срочное, ей никто не открыл, она разузнала у людей дорогу и сама пришла в контору, объясняла мать. У Моны очень расстроенный вид, что-то случилось, пусть он скорее встает. Когда, заспанный, взлохмаченный, он наконец появился на кухне, Мона выглядела бледной, и глаза у нее были расширенные и растерянные. Из Берлина в Лейпциг пришла телеграмма, она лежала на кухонном столе рядом с его незакрытой тетрадью.

— По счастью, мне сегодня не нужно было в

университет, — сказала Мона. — Телеграмма пришла с утра, и мне ничего не оставалось, как привезти ее самой, кажется, дело срочное.

В телеграмме значилось, что до конца недели он должен зайти за визой. Главное управление работает до половины шестого. На часах почти двенадцать, пятница… какой-то зловредный гад в этом так называемом Главном управлении, филиале министерства культуры, задержал отправление телеграммы на день или даже на два. Г. не преминул бы насмешливо ухмыльнуться: «Это они чтобы власть свою показать, чтобы унизить — нешто не чуешь?»

На подобные мысли времени не оставалось… Г. сказал бы: «На такие мысли у тебя никогда времени не остается!» Натягивая брюки, путаясь в штанинах, он на ходу выпил сваренный матерью кофе.

— Хоть бы зубы почистил, — сказала Мона, следившая за его действиями с нескрываемым недоумением.

— Не буду! — отрезал он. — В ГУ мне никого лобызать не придется.

— Так ты в Берлин?! — испуганно спросила мать; по ней видно: столь поспешный отъезд для доклада начальству ничего хорошего не

предвещает.

— Мона тебе все объяснит! — крикнул он, сорвал с гвоздя желтую куртку и выскочил за дверь.

— А для куртки не слишком прохладно? — крикнула мать вдогонку…

Для куртки действительно становилось прохладно, октябрь кончался, по ночам уже подмораживало. Он поехал в Берлин через А.; по дороге проверил, все ли в наличности: документ, загранпаспорт, кошелек с деньгами. Прибыв в начале шестого на Центральный вокзал, схватил такси и помчался на улицу Клары Цеткин, где размещалось *Главное управление по делам издательств и книжной торговли,* филиал министерства культуры, где сидел зам. министра. Ровно в семнадцать тридцать Ц. стоял в приемной, за барьером предупредительно лыбился какой-то пенсионер.

— Мы тут вас уже третий денек поджидаем, — сказал старикан. — Присядьте, покурите, секундочку подождите…

— Неужели вы думали, — спросил зам, когда без малого через час Ц. наконец пустили к нему в кабинет, — что мы когда-нибудь кончаем работу в человеческое время? Нет, конечно, и напрасно

вы так себя загоняли.

— Но сегодня пятница, — сказал Ц.

— Что вы говорите?! Опять пятница… Ну что ж, вы здесь не в первый раз и понимаете, что я имею вам сообщить. Но я вас уже много раз инструктировал, распишитесь здесь, что инструктаж проведен, и спускайтесь к секретарше в турагентство, вы знаете куда. Я позвоню, на месте ли она еще… документик на поездку получите у нее. Скажете ей, с какого дня открыть визу — с сегодняшнего? С завтрашнего? Желаю удачи, до новых встреч…

Все вдруг пошло так гладко, что ему опять стало не по себе. Он ждал, когда возникнет ловушка, но нет — все идет как по маслу. Внизу, у секретарши, он расписался за несостоявшийся инструктаж, который звучал бы примерно так: вы гражданин ГДР и в капиталистической заграницe также подлежите законам своего государства. Ведите себя в соответствии с законами и моральными представлениями вашей страны. Не нарушайте законодательства страны, в которой находитесь. В случае конфликта немедленно обращайтесь в постоянное представительство ГДР…

Через полчаса Ц. снова стоял на улице — ему даже новый загранпаспорт выдали, у старого кон-

чился срок действия, он его сдал. Фото на паспорт у них, значит, имелось… когда он расписывался за новый паспорт, в глаза бросился черный чернильный штемпель, закрывавший почти всю седьмую страницу синенькой книжицы; в правом углу: *Служебная виза одно — многократного действия сроком до…* дата определяла срок в четырнадцать месяцев; виза вступит в силу 31 октября 1985 года и закончится 31 декабря следующего года; в строке про количество въездов зачеркнуто слово *«одно»,* то есть Ц. может въезжать и выезжать сколько захочет. Такую визу дают журналистам, консульским работникам и тайным агентам, подумал Ц.

Он окинул взглядом улицу с ее голыми, отталкивающими служебными зданиями: здесь ему больше нет места! Стемнело, по Берлину полз сырой холодный туман; Ц. медленно шел к Фридрихштрассе. Пойди он в обратную сторону, через какие-то сотни метров уперся бы в стену: она усохла до нелепости! Еще вопрос, когда она снова вырастет *перед* ним. Суждено ли ему еще раз вернуться в Восточный Берлин? Может, и нет, думал он.

Впереди — последние выходные в ГДР… ничто не могло отвлечь его от этой мысли.

— А вдруг Горбачева завтра свергнут? И Восток возьмут в оцепление, — сказал он.

Мона схватилась за голову. Взгляд ее был примерно такой, как тогда, в ту ночь, когда она назвала его сумасшедшим.

Он с трудом помнил те выходные (сколько же все-таки лет прошло?): его обуревала неописуемая тревога, в которой затонули все подробности. Мона растерянно стояла рядом. Изредка исчезала в спальне и час-другой не показывалась; не тратя времени даром, он успокаивался шнапсом. С получением визы личность, которую он, мало-мальски уверенно, мог принимать за свою, как будто враз уничтожили. Вместо нее внутри 'зарождается нечто, что всякое твое телодвижение ставит под сомнение, критикует, объявляет бессмысленным. Упаковав было сумку, он тут же вытряхнул и разбросал на полу все содержимое: на кой черт ему вся эта дрянь? — Вспомнилось, что тетрадь с начатым текстом, над которым работал последние дни, осталась на кухне у матери. Мона тоже не догадалась привезти тетрадку в Лейпциг… или нарочно не взяла?

И как это не оправдать. Вот уже который месяц, больше полугода, он глух ко всем ее возражениям, действует подобно бесцеремонному роботу, а

она еще думай о его забытой тетрадке. Начатый текст — это нанизанные без всякого замысла предложения, ничем не обоснованные; письмо ради письма. Он писал потому, что ничего другого не может… нельзя же сидеть сиднем, глядя, как твоя жизнь проносится мимо, и не писать! Это-то он и силился изобразить; длинными, все более отвлеченными предложениями кружа вокруг одного вопроса. Почему у него в этой стране аграфия. В стране, в которой он сидит, точно в клетке. Пока что его предложения и близко не подобрались к ответу…

Кажется, все сводилось к тому, что тексту можно было остаться в городишке М. В субботу вечером он поехал трамваем на Центральный вокзал покупать билет. Билет выписывали в особом окне по предъявлении разрешения на выезд — причем за *валюту*, то бишь за западные марки, либо за «форум-чеки», незамысловатого тиснения бумажки, которые дают в банке в обмен на западные купюры и на которые можно отовариться в Интершопе. От последней поездки в Регенсбург сохранились две сотни; после покупки билета оставалось еще добрых пятьдесят. На них он купил в Интершопе бутылку виски. Из-за этого они с Моной опять рассорились: хотели

купить в Интершопе новую кофеварку, старая на ладан дышит. Оставшихся форум-чеков на это уже не хватит!

— Рыдаешь из-за какой-то дурацкой кофеварки, а ведь очень скоро мы сможем купить кое-что получше! — И он протянул ей билет: пусть убедится, что в оба конца. — Вернусь самое позднее через месяц!

— Я не из-за кофеварки, я из-за тебя!

Слезы вымыли из уголков Мониных глаз черную тушь; сконфузившись, она убежала в спальню.

В воскресенье вечером приготовления завершились, по крайней мере он объявил, что они закончены. На полу стояла собранная сумка; он уже плохо помнил, что там внутри. Спросил осторожно: не хочет ли Мона сходить с ним поесть и выпить вина — к примеру, в тот ресторанчик в восточном городе, который считался вообще-то сносным и где они уже не раз бывали. Она согласилась, они сели на трамвай и поехали на восток. Вопреки ожиданиям, в ресторане даже нашелся свободный столик, и обслужили их быстро; загвоздка была только в том, что предлагалось выбрать одно из двух блюд, и, как назло, из того, что Мона обычно не ела. Все кончилось тем, что

Мона резала жилистый кусок мяса, погребенный под грудой красной переперченной подливы вперемешку с такими же разваренными овощами; на краю кучкой лежала истекающая жиром картошка. Гадливым жестом она отодвинула тарелку на середину стола; вступила в пререкания с официанткой, когда та пришла убирать посуду. Еда безобразная. Видно, и здесь уже стали равняться на принятые лейпцигские стандарты. Ответ, как и следовало ожидать, граничил с хамством; Ц. заплатил по счету, и, оставив бутылку красного вина на треть недопитой, они удалились.

— И хорошо, что вернемся не поздно, — сказала Мона в трамвае. — Мне завтра утром, еще до работы, к психоаналитику. Лягу сегодня пораньше.

Ц. вздохнул с облегчением, когда Мона отправилась спать: он наконец остался один. Водворился покой, словно бы завывание фурий, бесновавших вокруг него все выходные, в одночасье затихло. Он устоял… но какой ценой? Такое чувство, будто задел, обидел, оскорбил все свое окружение, каждого, кто для тебя что-то значит. Он потому ранил их, что искал себя, по крайней мере так ему казалось. Они оттого обижались, что внезапно не узнавали его… он же не узнавал себя никогда и потому вел себя, как угодно им, согласно их

представлению. Они нарисовали себе его образ, он же постоянно образ этот воплощал. Стоило раз выпасть за рамки, как они, раздувая щеки, шарахнулись в разные стороны. Плакали в три ручья: на кого ты нас покинул. Но покинул их тот, кого они себе придумали… каков он на самом деле — их не волнует.

Он откупорил интершоповскую бутыль и отхлебнул… деваться-то некуда. В шесть утра нужно быть на вокзале, ложиться уже не имеет смысла.

Нет, ему есть чем заняться, одна мелочь все же осталась: письмо написать. Он сел за машинку: сочинить ответ на послание, которое получил вот уже два месяца назад, но до сих пор не ответил, хотя, вообще говоря, все время собирался. Но ничего убедительного в голову не приходило, и письмо все глубже затягивало в толщу отложенных бумаг, которые он потому только не выбрасывал, что там могло скрываться что-нибудь нужное, незавершенное. Он даже Моне показывал то письмо: не знаю, мол, как ответить и нужно ли отвечать. Мона тонко заметила: письма, которые не ищут ясного ответа, суть замаскированные любовные послания… отвечать следует либо в том же сдержанном тоне, либо вовсе не отвечать.

Сейчас он писал ответ на это письмо, пришед-

шее из Нюрнберга. На конверте значилось имя Гедды Раст; Ц. не представлял, кто это такая. Да и сейчас знал не многим больше: она писала, что знакомство их было мимолетным, состоялось оно в машине, по дороге в его гостиницу в Регенсбурге; «знакомство» — это, пожалуй, чересчур: виделись они всего минут пять, она сидела на заднем сиденье. Теперь, прочтя его книги, она знает о нем чуть больше, но это еще вопрос, много ли узнается из чтения книг — тех же стихотворений — о человеке, их написавшем.

В первом предложении он извинился, что долго медлил с ответом, второе забуксовало. Регенсбург помнит смутно, слишком много было вокруг незнакомых людей. Вероятно, она подруга той женщины, которая заговорила с ним, а потом подвезла до гостиницы; с ней он, между прочим, тоже практически незнаком…

Почти после каждого предложения, отстучав на машинке до точки, он вставал и бродил по квартире… поразительно, как в эту конуру (метров, наверное, в сорок), со множеством углов и закоулков, умудрились еще и ванную встроить. Совершил этот подвиг Монин отец; инженер на монтажном заводе (Ц. много лет на подобных работал), один из тех мужиков, которым,

как выражается Мона, все по плечу. Они были едва знакомы, в его отношении к себе Ц. всегда чувствовал оттенок высокомерия — должно быть, из-за того, что заявление об увольнении по собственному желанию у него приняли на том заводе без всяких проблем. Зряшный ты человек, коли тебе так просто уволиться.

Встройка ванной, конечно, отъела кусок у спальни, теперь туда помещались только узенькая тахта да шкаф, стоявшие почти вплотную, дверцы шкафа даже не открывались полностью. С тех пор как Ц. стал манкировать совместным спаньем на тахте, он ложился только после ухода Моны. Конечно, мог бы поспать и на диване в гостиной, но тогда Мона разгадала бы уклонительскую тактику; лучше, если, вставая с утра, она застает его за работой… или, по крайней мере, в позе человека, который работает.

Проходя мимо кухни, он отхлебывал виски, потом снова садился за машинку. Есть вероятность, выстукивал он, даже почти уже наверняка известно, что в ближайшее время его надолго выпустят в ФРГ, он уже не первую неделю ждет разрешения. Как только определится его западный адрес, он снова даст о себе знать. А вдруг судьба занесет его в Нюрнберг…

Когда он покончил с письмом, бутылка была наполовину пустой. Он сунул ноги в ботинки, накинул куртку, решив сразу отправить письмо. Завтра, в предсказуемой утренней спешке, скорее всего забудет. До почтового ящика было от силы метров сто пятьдесят: по мостовой тяжело барабанил осенний дождь; не надень он куртки, промок бы насквозь. Поднявшись в квартиру, повесил брюки на спинку стула, а стул пододвинул к печке, от изразцов еще тянуло теплом. Полотенцем высушил волосы… дождь как-то странно освежил его, голова вдруг стала на удивление ясной. На пару минут открыл оба окошка, чтобы проветрить комнату, в трусах и в майке лег на диван. Лейпциг затих, этой почти зловещей тишиной последних полутора-двух часов, пока на Георг-Шварцштрассе не загрохочет транспорт. За окнами шелестел дождь.

Когда он проснулся, в комнате ярко светило солнце. Вмиг стало ясно: он все еще в Лейпциге — проспал. Вскочил с дивана, кинулся в ванную, встал под ледяную струю. Затем стал обдумывать положение… какие проблемы, с таким же успехом он может поехать и завтра утром! Идиотизм, конечно, но ничего страшного…

Недопитое виски стояло на кухне, он даже не

спрятал бутылку; Ц. брезгливо отправил ее в холодильник. Перед тем как уйти чуть свет, Мона поставила на столик рядом с диваном будильник: без четверти пять он звонил, Ц. не услышал. Еще там стояла чашка и маленький термос с горячим кофе. То-то она удивится, застав его вечером дома… да вот обрадуется ли? Не значит ли это, что следующей ночью разыграется тот же спектакль? Несмотря ни на что, захотелось вдруг увидеть Мону… может, остаться, поговорить с ней вечером обо всей этой неразберихе? Неизвестно, хватит ли вечера… может, придется проговорить неделю, чтобы наладился мало-мальски устойчивый мир. Он не уверен, что сможет потом без колебаний уехать…

Остаются еще две возможности: съездить к матери за забытым черновиком… или сесть на другой, вечерний, франкфуртский поезд. Но что ему делать во Франкфурте в пять или шесть утра… во Франкфурте, где никто, наверное, не знает, что ему разрешили выезд. И вот еще что: во всей этой суматохе он позабыл дать телеграмму; телеграмму в издательство с извещением, что виза получена, что Ц. едет во Франкфурт…

Он с яростью опрокинул в себя кофе, взял сумку — она получилась пухлой и довольно увесистой

— и вышел на лестницу. Спустившись на первый этаж, бросил в ящик ключи… мосты сожжены! Если передумает вдруг, то придется вечером в дверь звонить. И пошел отправлять телеграмму.

И вот он стоял на улице — на осеннем солнце, ослепительно ярком, но бессильном согреть, решительно не способный принять решение. Голова раскалывалась — печально знакомое последствие дешевого виски из Интершопа. Наконец (как будто недостаточно еще наломал сегодня дров) остановился на идее навестить друга, писателя Г., который жил на Георг-Шварц-штрассе. Очень возможно, что тот еще не пришел — Г. подхалтуривал слесарем в ближайшей больнице, — но жена, наверное, дома. Так и есть: Марта открыла дверь и расхохоталась. Марта — славный человек, притворство ей чуждо, такая если хохочет, то будь уверен, что вправду рада.

— Ты с Запада или по дороге туда? — спросила она. — Бледный какой. Кофе небось хочешь.

— По дороге. Сейчас был бы уже там, если бы не проспал.

— Известное дело. Горбатого могила исправит. Но я не внакладе — вот ты стоишь один-одинешенек и волей-неволей звонишь в мою дверь… хоть раз в полгода, но звонишь.

— Бросил ключи в Монин почтовый ящик, в квартиру уже не попасть.

— Нельзя тебе так много пить, — сказала Марта, поставив на стол две чашки крепкого кофе, сваренного по-турецки. — Можешь, конечно, подождать, пока Мона придет домой. Но похоже, тебе не хочется?

— Вроде того.

— Приятель твой Г. тоже исчез, вот уж почти две недели не появляется. К мамаше поехал…

— К мамаше?

— Там с младшим братом неладно. То ли взлом, то ли серия взломов. В предвариловке мальчик… а ведь ему всего пятнадцать.

— Что творится с этим мальчишкой, что творится со всей этой молодежью?

— Что творится со всем этим государством? Что с нами со всеми творится?

По тому, как Марта это сказала — Г. исчез, почти две недели не появляется, — было не очень похоже, что дело только в братишке.

— Еще вопрос, — сказал Ц., — как мы поступим, не разбежимся ли врассыпную?

— Похоже, нажим спадает. Все, что исходит от государства, кажется каким-то странно непринудительным. И все наши маленькие вынужденные

содружества распадаются первым делом.

— Стало быть, все не так плохо?

— Может, еще окажется, что мы не способны постоять друг за друга. Что так и не научились…

Марта предложила вечером посидеть где-нибудь: в одном из этих кафе под открытым небом, каких на западе Лейпцига, в лабиринте садовых участков, превеликое множество.

— Только пить много не будем, максимум пару бокалов вина, — предупредила Марта. — Если хочешь, ночуй у меня. Можешь не сомневаться, я тебя с утра разбужу.

Ночью снова пошел дождь. В сложной системе дорожек (второй город садоводов и огородников, по выражению Марты) было легко заблудиться, но сейчас деревья уже обнажились, вдали на горизонте над городом висела красноватая светящаяся дымка, в сторону которой следовало идти. Осенью большинство садовых кафешек в одиннадцать уже закрывалось; на обратном пути они шли, вцепившись друг в друга. С черного неба стекали сплошные завесы дождя, кое-где по дорожке не пройти, вода стояла по щиколотку; через полчаса, промокшие до костей, они добрели до Марты. Ц. снова повесил одежду на печку сушиться.

Но и утром, в битком набитом трамвае, одежда была еще влажной. Впрочем, в трамвае все было влажное; зажав сумку в ногах, он стоял в проходе, а вокруг, точно желая отжать друг дружку насухо, теснились и извивались люди. Трамвай шел неровно, рывками, в черноте за окнами проносились в фонарном свете косые стрелы дождя. В купе межзонального поезда он вошел изрядно промокшим.

Поезд, казалось, мчался в темное небо, а сзади, над оползающим Лейпцигом, уже подымался мутноватый рассвет. Он подпер правой рукой голову и закрыл глаза. Напротив сидело двое парней; немного спустя он услышал, как один говорит: «Вон внизу трамвай в БадтДюрренберг…»

Он поглядел в окно: поезд катил по высокой насыпи, с глухим грохотом двигался по вереница мостов. Внизу, в долинообразной впадине, и вправду ползли два трамвайных вагончика; вдали, над обширным промышленным комплексом, мерцала путаница разноцветных огней. Химические заводы Лейны. «Лейна I» или «Лейна II», на обоих заводах гигантского ареала он долго работал. Заводы заняли весь горизонт, градирни, цилиндрические, гротескного вида башни, футуристические шаровидные резервуа-

ры, взлохмаченный войлок штанг, схваченных перетяжками, вонзались в блеклый рассвет, озаренный желтыми и красными газовыми факелами. Дождь перестал. Ц. вспомнил, что когда-то (лет восемнадцать назад, если не больше) и он ездил на этом трамвайчике в Бад-Дюрренберг; один из нескольких тысяч монтеров для наружных работ, распределенных по двум заводам Лейны; он обитал там в рабочем общежитии. Иногда то время казалось поистине неисчерпаемым материалом — но и пугающе трудным: если начать писать об этом, то уйдешь в это с головой на долгие годы. У него о том времени мало написано (почти ничего, думает он); когда заторможенный, ни на что не годный, он изнывал за письменным столом, терзаясь своей импотенцией (или терзая свою импотенцию) — эспрессионистски окрашенные факелы Лейны почему-то не всплывали в памяти. Он грешник и транжир, коли пренебрегает гигантским отрезком жизни, в котором, как ни крути, знает толк! Но может, он потому об этом не писал, что жил в Бад-Дюрренберге не *своей*, а общежитской жизнью…

Да и кому это все интересно там, куда он сейчас направляется? Поклонницам литературы, которые приходят на его чтения? Той женщине

в Регенсбурге, что брала у него автограф, фиксируя взглядом расширенных глаз его неверную руку, которая силилась вывести на форзаце имя, но подпись не вышла и казалась как будто подделанной… Женщине, чьи бледно-розовые лакированные ноготки пощипывали его рукав, направляя Ц. сквозь хлынувший дождь к машине и любезным жестом, будто важного чиновника, усаживая впереди рядом с собой, владея им, будто перышком, что от одного дуновения губ летит в нужную сторону…

Он ухмыльнулся: на перышко — дунь и полетело — он уж точно не тянет. Но может статься, его «Я» из такого вот легчайшего материала…

А ведь ни одна из женщин его не хотела, когда он носился по химической пустыне, где из каждого закоулка воняло каким-нибудь новым коварным ядом; тогда ему чудилось, что наладить контакт с женской частью вселенной попросту невозможно. Как будто рыло твое все в зеленых и фиолетовых метастазах, гноящийся глаз смердит аммиаком, рот полон карболовой или уксусной кислоты, от просолившейся одежки воняет газом… ни одна из тех, что заполняли зал в Регенсбурге, на него бы тогда и не взглянула. А он уже тогда писал (и наверное, лучше,

чем теперь, временами думает он)… сейчас эти женщины только сочувствуют: когда-то он был работягой. Какая жестокость судьбы — не быть известным писателем от рождения! И за сочувствием неизменно кроется некая доля сомнения в его литературных способностях… а сомнение, которое он украдкой выискивает в других, — это, конечно, его собственное сомнение!

Только Марта понимала его, когда, накачавшись водкой, он изливался злобой, не в силах смириться с утратой… те трудовые годы часто казались потерей, временем, невозвратимо отнятым; отчего в душе клокотало неутолимое бешенство, которое лучше и не будить; однако водка поднимала его со дна. — «Литературные шлюхи, — припечатала Марта женщин, по которым он тосковал когда-то; он недолюбливал это словцо, но помалкивал, защитительные речи Марты приносили облегчение. — Почему ты сейчас не пользуешься возможностью? — спрашивала она. — Не можешь шпокнуть этих бабешек одну за другой — и послать к такой-то матери?»

Марта права, он не может… не может брать женщин, он своего рода Тантал во всем, что касается женского пола… и, похоже, даже слегка

кичится этой своей ролью. Марта говорила: «Ты себя загипнотизировал, в пубертатной стадии или еще раньше. Хорошенько позанимался самовнушением. А теперь не можешь растормошить свой маленький член и женщинам не позволяешь себе помочь…»

Он плохо спал ночью, вспомнилось ему вдруг. Лишь далеко за полночь, убаюканный мягким шорохом обложного дождя, что слышался за приоткрытым окном, перенесся на какие-то дальние нивы и впал в беспамятство. Не проснулся он толком и когда почувствовал рядом женское тело, под грубое, слегка колючее одеяло, под которым он лежал в еще не просохшем белье, забралась женщина. Наверное, это Марта ищет его… а может, это случилось предыдущей ночью и рядом с ним была Мона: они примерно одного роста. По телу пробежала волна тепла, он почувствовал, как она нежно и медленно дышит ему в шею. Она прижималась к нему — Мона или же Марта, — ночная рубашка задрана до груди, одна нога лежит у него поперек живота. Он обнял женщину, его рука, скользнув по ее спине, спустилась пониже и притаилась у нее между ног, в нейтральном месте, между двумя беззащитно распахнутыми отверстиями. Вскоре там же по-

явилась ее рука, взяла его пальцы и увлекла в тесноту эластично подавшихся складок кожи. Его пальцы втиснулись внутрь; на пару секунд задвигался вкруговую ее таз, прильнувший к его бедру и поддерживаемый двумя сплетенными руками, пальцы которых, вошедшие вглубь ее тела, соединились так тесно, что на какой-то миг он перестал различать в этом влажном таянии, какие из пальцев его. Ее зубы крепко впились ему в плечо, она словно бы подавляла крик… тут Ц. вспомнилась сомнительная идея насчет онанизма, которую он внушал Моне.

Марта разбудила его чуть свет, но сразу же снова отправилась спать, не в силах видеть его нервозность: в мыслях он давно уже был далеко. Даже кофе, который сварил себе сам, он выпил стоя, жадно затягиваясь сигаретой. На вокзал приехал гораздо раньше, чем нужно.

Очнулся же, только когда поезд замедлил ход и въехал в вокзал пограничной станции Герстунген. Положил паспорт с визой на узенький подоконник и стал ждать.

* * *

Вот уж невесть как долго Ц. видел мир на одних вокзалах. Он двигался от вокзала к вокзалу, с

редкими остановками, в уме сохранялись только вокзальные образы, они превращались в отправные точки сознания. На вокзале ничто не имеет отчетливых узнаваемых очертаний, вокзалом правит что-то разбойное; ты ежесекундно на страже того, что таится в твоей голове и груди, — это не самобытность, а лишь эгомания. В особенности крупные вокзалы — пристанища персонажей, что, будто призрачные одежды, меняют самосознание: ходят и смотрят так, словно у них есть глаза и на затылке, всегда готовые придать себе новый облик, помыслить иные цели, наложить на себя отпечаток чужой судьбы. Ц. казалось, что на вокзале в нем не сразу распознают пришлого из ГДР. Но этим мало что объяснялось, на вокзалы его тянуло еще на Востоке.

Едва у него появился адрес в Федеративной Республике (сперва в городке Ханау), как Ц. угодил в цирковой балаган авторских чтений, его приглашали читать свои тексты. С самого начала это мероприятие казалось ему крайне чудным ритуалом, продолжающим существовать лишь потому, что однажды так повелось, и никому вроде бы невдомек, как и зачем отменять этот обычай. Вот и тянутся эти чтения, точно дурная привычка, для которой давно уже нет никакого

повода. Но дело-то в том, что большинство писателей ФРГ едва ли не кормятся этими чтениями (исключение составляют несколько звезд да, пожалуй, пенсионеры). Не приводит ли это к тому, что писатель в этой стране ощущает себя этаким никчемным субъектом, нахлебником? Или же все наоборот? Может, из роли бродячего комедианта писатель черпает убежденность в своей социальной нужности?

Очень возможно, что на первых порах Ц. пал жертвой подобного ослепления. Гордился, когда приглашения учащались; на все предложения с усердием отзывался. Позже ограничился воззрением, что чтения для него — это способ подзаработать денег, которые он потратит... пользоваться общеупотребительной моделью «это *мои кровные*» ему претило.

Народу на чтения приходило немного; что кого-то вообще еще волнуют продукты писательского труда — вот что его поражало все сильнее и сильнее, и ведь заранее знаешь, что изрядную долю публики составят собратья по цеху, то бишь писатели, у которых сегодня выдался вечер, свободный от выступления. В самом деле все, что там читалось, все то более или менее текучее, что процеживалось через микрофон в воздуш-

ный бассейн, вместимость которого, конечно, была ограничена размерами зала, повествовало о перипетиях писательской жизни. Автор живописал другого автора, нередко с субтильным нюансом: автор живописал автора, пишущего о писательстве третьего автора… о тяготах ремесла и обстоятельствах, завлекших его — либо обоих: субъект и объект описания — в тенета этой профессии. В наиболее удачных случаях сюжетным нервом служила любовная связь, порожденная тем стечением обстоятельств, что, хотя бы один из воспылавших друг к другу страстью героев — писатель; а нередко писатели и оба.

Немало текстов строилось на описании судеб, что делают из людей писателей. Здесь уместно именно слово *судьба,* ибо обычно избрание писательской карьеры изображалось как нечто неотвратимое; в сущности, вам давали понять, что писателями, вообще говоря, рождаются. В переводе на понятный язык это значит не что иное, как: «Бери меня на иждивение, плати мне зарплату, я не виноват, что уродился писателем!»

Феномен этот, рассуждал Ц., в других профессиях скорее в диковину. Но, конечно, это связано с тем, что писательство в самой сути своей предполагает обращение к общественности… и тем

отлично от прочих ремесел. Производитель кастрюль тоже, положим, обращается к общественности, но сугубо косвенным образом: она ему нужна только как потребитель его кастрюль. И если кастрюли пропускают воду, то, как бы красиво их ни раскрасили, никто их не купит. Печаль писателя в том, что он производит сосуды, которые нужно продать со всем содержимым. Что же писателю делать, коли он повсеместно находит одну тухлятину? Нужно, чтобы писатель поручился за то, что пришла пора заниматься тухлятиной… тут, безусловно, надобен известный авторитет. Может ли это быть авторитет щелкопера, предлагающего свои услуги в качестве бродячего чтеца, выступающего где-то на задворках культуры?

Все чаще Ц. ожидал предстоящих чтений с нарастающим внутренним сопротивлением. В конце концов стал стал их бояться: чем ближе дата мероприятия, тем явственней он ощущал, как из него уходят силы превращаться на публике в личность, все еще питающую к себе уважение. Он не чувствовал за собой ни малейшего права притязать на внимание аудитории, пусть даже самой крошечной. Фигурка, что поднимала свой голос там, на малюсенькой сцене, имела к нему

все меньшее отношение.

Это было сродни опустошенности; пик приходился на вечер накануне отъезда; сидя наутро в вагоне поезда, который вез его в город, где назначены чтения, он мало-помалу брал себя в руки… но долго ли еще это будет ему удаваться? Прибыв в город, посещаемый при сих обстоятельствах, он сперва шел в отель, где для него заказали номер, и, оставив багаж, возвращался — в качестве первой и, как правило, последней прогулки по незнакомому городу — обратно к вокзалу. Одним желанием запомнить дорогу на завтра (день отъезда), притяжение к вокзалам не объяснялось. Иной раз он умышленно пропускал один-два поезда, чтобы подольше побыть на вокзале. К городам, их центрам и достопримечательностям не испытывал ни малейшего интереса, ни с одной метрополией толком не познакомился, зато вокзалы знал хорошо, узнавал даже, самые отдаленные; даже если год или больше прошел с тех пор, как приходилось здесь бродить. Раньше его прельщали, помнится, книжные лавки, магазинчики старой книги вокруг привокзальной площади — теперь он предпочитал встать у окна бистро, где-нибудь с краю, взирая на мир зрителем из глубины убежища, уже не вполне

мирского, хоть и находилось оно на площади, собиравшей в полукруг от себя всю городскую сутолоку. Сутолока тесно соотносилась с вокзалом, но здесь он был от нее отгорожен, здесь его форма тревоги никому не бросалась в глаза, более того: здесь его посещало спокойствие, он не обязан здесь значить что-либо, кроме бегства и мимоходности.

Большинство беглецов в спасительном бастионе вокзала как будто все время ищут предлог, чтобы ухватиться за какое-нибудь иллюзорное представление о жизни. Однажды они изменятся, непрерывно внушают они себе, но перемена здесь, на вокзале, вряд ли возможна. В зале прибытия-отбытия тебе непрестанно морочат голову переменами, но все остается прежним; ты вечно глядишь вслед минуте, когда все якобы стало другим. Циферблаты часов, обилие указателей, объявления по микрофону, электрические табло — вся эта кажимость надежности и достоверности способна скорее запечатлеть в сознании предварительность и отрывочность человеческой жизни.

Ц. мысленно представлял себе вокзалы в восточной зоне: приходили ли ему в голову там подобные мысли? Порой ему становилось там

страшновато, особенно по ночам, и ненадежностью движения поездов дело не объяснялось. Восточные вокзалы были провинциальнее, даже в больших городах, и подчинялись скорее нуждам народного хозяйства, нежели бесперебойной перевозке пассажиров. По ночам пассажирское сообщение оттеснялось на задний план, вокзальные сооружения заполнялись грохотом товарняка. Пассажирские поезда ходили с большими интервалами, но зато допоздна… перроны и за полночь бывали запружены пассажирами; едва подходил состав, как изнуренные недосыпом люди, сбившись в плотные кучки, бросались на штурм. Залепленные грязью стылые вагоны вмиг набиваются до отказа; радуйся, коли отвоевал мало-мальски сносное место в проходе. Пытаясь пройти по вагонам, перелезаешь через компании молодежи: расположившись в проходах со всеми своими пожитками, ребята пускают по кругу пиво и шнапс. Поглотив людские толпы, поезда, бывало, выкатят из вокзала и ждут… чего они ждут? На заброшенных пустырищах, где никто никогда не бывал, под одиночными тусклыми фонарями, сеющими красноватый свет, сквозь который сыпет песком, дождем или снегом, ждут, и время как будто остановилось, ждут, пока нако-

нец не дадут сигнала на свободный проезд.

Западные, не в пример восточным, напоминали, причем, казалось, все больше и больше, торговые центры. От городских они отличались разве что тем, что магазинам разрешалось работать здесь допоздна. Ц. стоило больших усилий не заплутать на вокзалах, как это вечно случалось с ним на пешеходных торговых улицах. Не раздумывая, он съезжал по эскалатору и попадал в подземный торговый пассаж: такие были почти под каждым крупным вокзалом. Магазин нанизан на магазин, ураганный огонь светорекламы гонит вперед покупателей, ритмичными волнами разноцветного света несет толпу по галереям, и в дверях шопов и маркетов, аптек и бутиков, кафе и пивных люди все более отчуждаются от себя. Ц., волочась вслед за толпой, нет-нет да и вздрагивал: не прозевал ли поезд. И очень скоро, смятый и павший духом, он вставал на эскалатор, поднимавший его наверх.

А поезда, что потом везли его по стране, бывали почти пустыми: он пережиток прошлого, единичный сей обитатель купе, поездной книгочей, который, бывало, заснет над своими никак не кончающимися страницами, а потом, встрепенувшись, повернется к окну, к пролегающему

параллельно путям автобану, по которому мчат автомобильи стада. Смеркалось; прижавшись щекой к стеклу, он смотрел, как они обгоняют поезд. Как срываются с места, точно каждому на закорки вспрыгнул докучливый бес, вонзая шпоры в бока, — скорей отвязаться от неотступного! Как несутся на вираже, подлетают к дороге, идут на приступ — и продолжают ход параллельно путям, на секунду словно застыв, а потом, набирая скорость, неодолимо уходят в отрыв. Верные дисциплине, тесно сомкнутыми отрядами, через минуту готовыми разомкнуться, — одинаково полые лбы за лобовыми стеклами… тела начиненными смертью задами воссели на силищу, коей не обладают, сросшись с рулем, хозяином их кулаков, — мчали они вперед, будто подстегнутые кнутом великого водителя стад. И этот великий пастух есть капитал… мысленно приговаривал Ц., видя из окон поезда слившиеся воедино цепи притушенных фар, а поверху — облако раскаленного газа, облако сладостных аравийских благоуханий, будто от горящего нефтепровода, облако разноцветных миазмов, плывущее по-над ними, когда они строем гонят по трассе, громадные искристые автомобильи соты, а он, пастух, знай погоняет; от заправки

к заправке — где они напитаются манной своей, накачаются божественным спиртом своим. «Угробишься, шваль!» — орал их пастух, их бог, которому стада его давно опостылели.

«Угробишься! Всех угробишь!» Это он, облениившийся бес, это он в алой дымке реет над ними, манит вперед все поспешнее: «Угробь себя сам!» Ленивый заступник, он дал им карт-бланш. И когда манит, то манит их же рукой. И, невидимый, поднимает скипетр на выезде с бензоколонки: «Поехали! Быстро, быстро! Угробишься! Вшшшшик — и в фоб!» Это дух наживы, их пастырь, их бог, их великий Шикльгрубер. Это он дает стартовый выстрел на гладком, как зеркало, выезде с бензоколонки. А-а-а-а-а-а-а-аааааа! — наполнившись манной, газуют они послушно, сомкнув ряды, с радостным криком смерти, оцепенело глядя вперед, победоносно склонясь над лентой ночной автострады. Здесь, на трассе, хмельные от скорости, верные линии металлического барьера, в бесконечном тоннеле дороги, в искусственном свете, они вдруг замечали слепое пятно, которое каждый носит в себе и вот уж который век тщетно пытается распознать. Пустота в твоем теле, абстракция, — здесь, в отряде, вдруг понималось, что такое самость, что такое Я, оно переводит-

ся очень простым иностранным словом, и это слово — *авто.* И когда их бог, великий пастырь, великий Шикльгрубер, важно взмахнет своим скипетром: на волю! поехали! расстаемся! — они, подчиняясь зову автомобильей своей души, бодро рванут вперед: *А-а-а-а-а-а-аааааааа*|

Переживем ли мы этот век? — спрашивал одинокий читатель в своем купе. Переживем. Один этот век мы еще точно переживем.

Читатель испытывал страх. Страх бил без разбора, нападал снова и снова, в любую минуту, сзади, сбоку, нежданно-негаданно, среди белого дня, предупредить удары сделалось невозможно. Прыгал в лицо с газетной страницы, из книги, самые безобидные мысли выворачивал наизнанку, обращая их в страх. Если ты расправился с мыслью, порождающей страх, — это еще не значит, что она не вернется вновь вместе со столь же безжалостным страхом; нет никакой гарантии, что мысль, пришедшая в обличье дружелюбия, не обнажит внезапно голый остов страха.

Редко случалось, что он уезжал после чтений с хорошим чувством. Обычно ему казалось, что он потерпел жалкий провал; в той роли, которую он играл, было нечто невыразимо фальшивое, он в ней неузнаваем. Как будто непостижимые об-

стоятельства выводят тебя на чистую воду: того, кого они ожидали увидеть, попросту не существует… казалось, сложилась легенда, сложился публичный образ, которому он не соответствует, с которым не в силах справиться. Но к которому исступленно пытался приблизиться; из своего бездонного омута, гэдээровского небытия бежал он к этому фантому, неизбежно терпел фиаско, и публика расходилась разочарованная и смущенная. Потом сидел в отеле, уничтоженный, — не существуя ни как автор, только что симулировавший литературные чтения, ни в какой бы то ни было иной ипостаси!

Он спрашивал себя: чего они ждали? Какому образу он не сумел соответствовать? Ложился на гостиничную койку, ждал, пока жалкое трепыхание уязвленной души не поутихнет… это займет какое-то время. Когда дрожание перекинется на конечности, с ним будет легче справиться… Истекая влагой многократных приливов пота, сбрасывал, не вставая с кровати, склизкие тряпки, покуда не оставался лежать на холодном белье в чем мать родила; мало-помалу в мозг возвращались мысли, которые можно было обдумывать. Горел свет, он забыл задвинуть гардины. Он закрывал занавески и снова валился на кой-

ку. Пытался подумать о какой-нибудь женщине из оставшихся в ГДР; ни один из образов, скудноватый ассортимент которых все же имелся в запасе, не желал возникать в уме. Со зловредным упрямством всплывали лишь очертания матери его приятеля Г.: махонькая фигурка, вертляво-умненькая, рядится в западные тряпки из Интершопа, в которых кажется еще более гэдээровской. Он представлял, как ее иронический взгляд падает на его холодным потом пропитанные гениталии, беспомощно стекающие из паха, и, когда кругленькое аккуратное личико начинало приближаться к этому существу, к этому разоренному скопищу коричневатой волосистой кожи, поскорее прикрывал его обеими руками.

Со временем существо согрелось, и он снова его почувствовал… ощутил, как оно шевелится под чуткими ладонями, возвращаясь к хозяину. Каторжная работа, которую он там, в ГДР, справлял — в том числе и на благо тамошней литературы (чтобы ее высоко ценимых на Западе представителей обеспечивать двух– и трехкомнатными квартирами), — эта работа не убила чувствительности его ладоней.

Нет, у него и глаза «не такие», и член «не такой» — все не как у поэта, все не по предписаниям

гэдээровской литературы. И умением держаться культурным посланцем своего государства, наподобие тех восточногерманских писателей, которые много чего в ГДР критикуют, особенно по части культурной политики, но в то же время называют это государство своим, — этим умением он тоже не наделен. Такая позиция одобряется западной публикой, принимается на ура, у него против того нет шансов. В ГДР — в том виде, в каком он знает эту страну, — критиковать нечего; он полагал, что это бессмысленно. При университетах Федеративной Республики содержались целые штабы специалистов по литературе ГДР; очевидно, многим в ней виделась альтернатива литературе ФРГ, зашедшей, по мнению исследователей, в тупик. Да и в самой ГДР (при условии критического подхода, предписанного тамошними литераторами) можно увидеть политическую альтернативу ФРГ… Прогулки по миру этих понятий казались Ц. выхолощенной теорией; но возникало такое чувство, что этому доминирующему на рынке образу литературы ГДР и лет через сто противопоставить будет нечего. А на рынке он доминирует, это бесспорно…

Был случай, когда один восточногерманский издатель посетовал на отсутствие в Ц., что

называется, «критической солидарности». Поразмыслив над этим словосочетанием, Ц. вынужден был признать, что и впрямь не в силах высечь в своей груди ни искры внутренней убежденности в какой бы то ни было солидарности с ГДР. Но маститые восточногерманские писатели выступали перед западной публикой именно с этих позиций. И даже сформировали этой своей критической солидарностью на западногерманском литературном рынке нечто вроде нового истеблишмента, став там бессменной модой. Даже если в ногах валяться у западного образованного сословия — без солидарности, мало-мальски критической, ему ничего не светит. Правда, и здесь давно уже произошел перелом: писателей ГДР высылали из страны, исключали из Союза писателей, выбивая тем самым почву из-под ног и отгоняя в сторону Запада. Поднялся чудовищный шум: эти меры нуждаются в пересмотре! — единодушно требовал и Восток, и Запад. Тоже, если угодно, проявление критической солидарности. Когда Ц. приехал на Запад, там все обожали приветствовать друг друга словами: «Здравствуй, милая!» — так называлась известная книга, вышедшая в ГДР… он к тому времени давно уже говорил: «Спи, постылая!»

На весь этот, так сказать, новый истеблишмент, на рыночные успехи официальной литературы ГДР он всегда взирал с неприязнью. Конечно же, не признавался себе в этом жалком чувстве, пытался его игнорировать… но, когда удирал со всех ног в гостиницу, подавить его становилось уже невозможно. Его зовут в красивейшие города Европы, он едет бесплатно, еще и гонорар неплохой получает за жалкий, от силы двухчасовой выход — всякий бы позавидовал. Города, о которых любой другой гражданин ГДР может только мечтать, превращались для него в декорацию кошмара. Все они состояли из затемненной гостиничной конуры, где он сидел, потный, смердящий, в отчаянии дожидаясь обратного рейса. На два дня его поселили в самом красивом квартале Цюриха — он ничего не увидел в Цюрихе. Погода стояла распрекрасная, а он сидел в номере, занавески закрыты, в кулаке бутыль шнапса, пальцы приросли к горлышку. От перегара и табака не продохнуть, номер синюшного цвета (так позже казалось), в ванной воняет блевотиной. То и дело верещал телефон, журналисты хотели с ним побеседовать, устроители — пригласить в ресторан; трясясь от ужаса, он ждал, когда телефон отзвонит. Достоверно только одно: чтения

эти затеяны для того, чтобы изобличить его и уничтожить… потому-то он, видно, и согласился в этом участвовать. Для всего, что с ним творится, нет объяснения. Можно только крепиться и держаться… ждать, что с ним будет дальше. И вот воплощение этого образа: замытаренный некто в гостиничном номере, без малейшего представления, кто он такой в реальности. Вдруг он какое-то существо, которому человеческий облик присвоили только на время, по чистой случайности. Подопытный кролик творения, фальсификация от макушки до пяток, у Провидения не было на его счет никакого замысла. И остается ждать, разум свой он уже выблевал в гостиничный унитаз, он просто некий состав без смысла и без характера, можно только сидеть не двигаясь, помирать потихоньку и ждать, когда этот переходный срок закончится.

А вдруг это Гедда пыталась дозвониться! Он все обещал ей, что будет звонить с дороги, но никогда не звонил… боялся попасться. Боялся, что Гедда брезгливо отвернется, застав его в таком виде. Но в то же время эта боязнь, конечно, тоже фальшива… Гедда не сможет всерьез отвернуться, это понятно, она будет пытаться привести его в чувство. И укреплять тем самым в желании жить

во всей его фальши.

Да и как объяснить ей, что с ним происходит? Объяснения нет, есть только кучка тупо твердимых фраз. Как-то раз она все же застала его, — это было в роттердамской гостинице, он не ждал, что она позвонит. Едва он открыл было рот: объяснить душевное состояние, как в горле встал тугой узел, жгучий удушающий переворот, точно у огнедышащей ящерицы, разразился в гортани, ревущий кашель сотряс все его тело, с превеликим трудом он едва успел бросить трубку на рычаг. Над ванной его вырвало, нескончаемые литры виски вперемешку с горьким слизистым желудочным соком сплошным потоком хлынули изо рта, казалось, он истекал кровью. Он сел в отдающую серой, почти черную лужу и сунул голову под холодный душ…

Потом бесцельно слонялся по Роттердаму, мучась совестью, что таки не сумел ни слова вымолвить, когда позвонила Гедда. Бесконечные остановившиеся вечерние сумерки нависли над Роттердамом, летний вечер был томительно жарким. Просторное бледное небо, становившееся к северу как будто все более плоским и низким (оно казалось ему отражением свинцово-серого недвижного Северного моря), как бы

легко вибрировало, тая в себе нелокализуемые слабые раскаты грома. Оказавшись за пределами центра, он вышел на странные голые пустыри, заросшие сухой травой, похожей на ковыль. Раньше, видно, и здесь была территория города, сейчас же дома начинались лишь в отдалении, на краю пустого пространства; он шел по траве, а под ногами, казалось, похрустывали гравий и каменная крошка руин. С краю стояла наспех сколоченная деревянная эстрада, на ней небольшая рок-группа спешно упаковывала инструменты; скудная публика трусила небольшими группками к домам; небо ядовито заполыхало зарницами, надвигалась гроза. Дома, стоявшие здесь когда-то, очевидно, пали жертвой немецкой бомбежки Роттердама 14 мая 1940 года, всего через четыре дня после начала западного наступления немцев. Днем позже Голландия капитулировала. Об этой бомбежке сегодня мало кто говорил, все больше вспоминали бомбовую войну союзников против немецких городов. Тогда, в мае 1940 года, Ц. еще не родился.

Как объяснишь кому-нибудь, что с ним творится? На вопрос «как дела» он всегда говорит, что все хорошо… иной ответ звучал бы абсурдно, неправдоподобно и совершенно непонятно. Да у него и

впрямь все хорошо, даже отлично, он пропивает такие деньги, каких даже в Западной Германии ни один нормальный обыватель не позволит себе пропить. Но то, что творилось у него внутри, не было правдой. Непобедимой ложью это тоже не назовешь, там вообще происходит что-то, неподвластное словам. И путь только один: спрятаться от всего мира… по крайней мере пока не оправится, не натянет прежнюю маску, не подладится на какое-то время под то, что полагает душевным настроем всех остальных. Припоминая, когда это началось, он полагал, что скорее всего по мере того, как он становился публичной фигурой. Разве не с тех самых пор он постепенно соскальзывал в хаос? По мере того, как становился публикуемым автором, встречающим некий отклик…

Выходит, они были правы, те, в ГДР, со своими предупреждениями да добрыми советами…

И помочь может только одно, для него совершенно, абсолютно немыслимое: перестать быть публичным писателем…

Это хотя бы потому немыслимо, что он не удостоит этих советчиков признанием их правоты.

Он понимал, что когда-нибудь ему придется описать того монстра, который захватил его нутро, и выдать общественности. Той самой, от

которой прячется и которую боготворит; которой, пускаясь на всевозможные хитрости, уподобляется и которую жуликоватыми маневрами надувает, норовя — этакий хитрый скиф, лошадиный барышник — продаться ей подороже. Главной ее инстанции, критике — в ее кровавую пасть — он и должен бросить эту тварь на съедение.

В какой-то момент он счел, что бессмысленно разжигать в мозгу весь этот идейный террор. Тварь, о которой он говорил, — это лишь пугало, фантасмагория. Хищник зовется *Богом* и *Смертью* — ничего не говорящими, абстрактными именами, которые там, за стенами отеля, были не более чем порождениями воображения…

Отель — первообраз жилища, где вся жизнь проходит под знаком незавершенности. Вокзал находился обычно неподалеку; бессонными ночами он брел туда и изучал расписание. Есть поезда, что выходят чуть свет, пересекают границу и ближе к вечеру прибывают в какой-нибудь город в восточной зоне — не важно какой, — знакомый по прошлой жизни. Что же мешает ему сесть в такой поезд, под мерный стук колес задремать, благо бутыль виски под рукой, а проснуться уже там, после долгой дороги… там, где тварь, над бес-

покойством которой он уже не властен, похоже, чувствует себя дома.

Это смешно и глупо: всякий раз, когда им с Геддой случалось поссориться, размолвка выливалась в борьбу Востока и Запада, в бессмысленный спор представителей двух разных предысторий. Конфликт неминуемо завершался патом: предыстория у каждого позади и, соответственно, неисправима. Из каждого боя они выходили с потерями, завершая битву спиной друг к другу.

Возможно, итогом подобной ссоры явилось то, что однажды Ц. и впрямь удрал из отеля. Это произошло после чтений в Вене, вторых по счету, на исходе лета в первый западный год, — чтений, прошедших, по его ощущению, хорошо; не в пример предыдущим, весенним, после которых он уезжал из Вены изрядно приунывшим.

История с Геддой не давала ему покоя, хотелось побыть одному, но объяснять причину было бы утомительно. Все равно что сознаваться в своей вине. По время обязательных после чтений посиделок в кафе Ц. с извинениями отпросился на полчасика; пыхтя от одышки, обошел два раза собор Святого Стефана и вдруг очутился перед своим отелем; маньяк-алкоголик в мозгу приказал забрать из номера сумку и немедленно

отправляться в Нюрнберг. Портье на месте не оказалось, он сам снял с гвоздика ключ, а потом положил на видное место посреди стойки. Уже в такси, по дороге на Западный вокзал, раскаялся в содеянном; хоть бы записку оставил рядом с ключом. Вскоре он уже сидел в мюнхенском поезде, последнем поезде, отправлявшемся в этот поздний час из Вены.

Поутру, в начале седьмого, он оказался в Мюнхене. Пошел на привокзальную почту: дать телеграмму в Вену, сообщить, где находится. Не вышло: почта работает только с восьми… они там уже, наверное, в полицию позвонили, сообщили о его внезапном исчезновении. Пытался звонить Гедде: два раза безрезультатно, на третий сонный мужской голос сказал «алло». С испуга повесил трубку. Пошел в привокзальный буфет, напился кофе. Он узнал сонный голос: это бывший друг Гедды, она с ним рассталась. Он, собственно, в Мюнхене и живет, вернее сказать, курсирует между Мюнхеном и Нюрнбергом… с тех пор как появился Ц., бывший друг тоже, казалось, мыкался как неприкаянный.

Сейчас вспомнилось, что послужило причиной той ссоры с Геддой: речь зашла о ее заветном желании, путешествии в Грецию. Она уже там

бывала, и, судя по рассказам, пережитое в Греции стало для Гедды чем-то фундаментальным. С тех пор, говорила она, мечтаю об этой стране; ее желание разделить этот опыт с Ц. было так сильно, что иногда он прямо-таки чувствовал, что ему наступают на горло. Впрочем, постановила Гедда, поездка возможна только весной: в летние месяцы местность, которую она приглядела, осаждается полчищами туристов. Кроме того, в Греции летом невыносимо жарко.

— Но весной у меня уже виза закончится, — возразил Ц.

Из этого и разгорелась ссора: ох уж эта его вечная нерешительность, эта малоприемлемая манера все оттягивать, не думать о будущем, ждать до последнего, пасовать перед любой предсказуемой трудностью, юлить, идти на попятную… действовать, как выражалась Гедда, «начерно» и «по требованию».

— Ты ведь уже не в ГДР, — сказала она. — Можешь сам определять, что тебе делать. Почему же ты никак не можешь на это решиться?

Тут она, конечно, задевала больное место… все так и будет: весной, ко времени этой поездки в Грецию, ему, согласно договору с властями, уже нельзя будет находиться на Западе. Или нужно

хлопотать о продлении разрешения на пребывание. Подоплекой подобных разговоров служила, естественно, вовсе не виза, а некий, что ли, договор с самой Геддой, признание их отношений. Никаких ясных слов на сей счет Ц. пока не произнес, этот упрек и скрывался за темой Греции. Паршивый штемпель, который гэдээровские чиновники шлепнули в его паспорт, он использовал в качестве средства, позволявшего держать отношения с Геддой в подвешенном состоянии… лучше даже не представлять, как возмущало ее такое поведение. Сколько нужно было самоотверженности, чтобы закрывать на это глаза. Временность, в которой он жил, которой так домогался, давно отбросила тень и на Геддину жизнь, это неминуемо должно было произойти.

Она не жаловалась, но, когда случались ссоры, все очень скоро упиралось в несопричастность Ц. чему бы то ни было. Здесь обоих подстерегала опасность: ничтожные неурядицы неожиданно приобретали экзистенциальный размах, затрагивая вопрос о продолжении отношений. Вспомнилось, что в первый год после каждой ссоры он страстно желал, чтобы виза поскорее закончилась… вслух, правда, этого не говорил, только в мыслях, а Гедда глядела на него в упор, исполнен-

ным страха взглядом, словно догадываясь, о чем он думает. Его разрушительная недоверчивость, нерешительность — неспособность уразуметь, что Гедда хочет его, и никого другого, даже если к телефону подходит чужой мужчина, — все это и было, конечно, причиной частых поездок Ц. на Восток; Гедда и это наверняка чувствовала. Поспешное бегство из Вены тоже сродни тому… разве редко играл он мыслью без шума и помпы свалить в ГДР, чтобы скрыться от Гедды. А когда это свершалось, то едва он приезжал на Восток, как мысли о Гедде не давали покоя: непонятно, что он здесь делает.

Может, женщина действительно нужна ему только как своего рода идеал? А столкнувшись с ее реальным существованием, он тут же чувствует, что не справляется?

Да и в этом идеальном качестве она нужна ему в ином измерении — на недосягаемом уровне, от которого он отделен неодолимыми силами. На подмостках, где он может только лицезреть ее, вожделея, и куда ему не дотянуться. На экране воображения, где она являет собой желанную, но бесконечно далекую фантазию. Как мать, рядом с которой, спина к спине, он спал все детство, отделенный неотменяемым расстоянием, порож-

денным возрастом и временем, лежа без сна на боку, отвернувшись в свое одиночество, которое от ее ощутимой близости становилось Божьей карой.

Раздраженная его манерой вечно увиливать, Гедда заявила:

— Раз ты не хочешь, я снова поеду с Герхардом…

Положим, она сказала это не очень всерьез. Слова сорвались с языка от беспомощности. Индифферентность Ц. может сделать беспомощным даже самый стабильный характер. Герхард, бывший друг Гедды, который тогда спозаранку подошел к телефону, тут же рванул бы в Грецию. Схватился бы за такое предложение, как за пресловутую соломинку. Но даже если бы путешествие это и состоялось, Герхард все равно не представлял для Ц. серьезной угрозы. Герхард — симпатяга, в Гедде души не чает. Дважды, когда ей случалось пускаться от него в бега, он без особых признаков злобы вновь принимал ее у себя. Что об этом думает сама Гедда, доподлинно неизвестно, однако она сказала: «В третий раз со мной этого не случится…»

Хотя Герхард всегда хотел спать с Геддой, происходило это нечасто (по ее словам, почти никогда):

чаще всего она отказывала ему. Отговаривалась всегдашними своими болезнями или, на худой конец, болезненными симптомами, вечно ее одолевавшими. Как-то раз она выложила начистоту:

— По сути, я его не любила, а он каждый день хотел со мной спать, из-за того я и стала такая хворая. И вышло так, что со временем он стал моей сиделкой…

— Почему же ты от него не ушла? — спросил Ц.

— Куда мне было идти? У меня и вправду не было во всей стране человека, к которому можно пойти.

— Ты очень красивая женщина, через пару дней ты нашла бы себе другого…

— Другой никогда не стал бы моей сиделкой!

В их отношениях все и по этой части было наоборот: она хворала из-за того, что Ц. не шел с ней в постель. Прошло полгода (может, чуть больше), и он с ужасом вдруг заметил, что его вожделение теряет силу: намечаются признаки пресыщения. Это было почти травматично; он уже дважды переживал подобное.

Когда с ним приключилась эта беда, он сперва принуждал себя спать с Геддой. Поначалу она обходила это молчанием, а потом сказала:

— Если не очень хочется, то лучше оставь. Ты так стараешься, как будто жизнь твоя решается.

А она и решается! — подумал он, но вслух не произнес. Понятно, что чем чаще его жизнь будет «решаться», тем сильнее будет сопротивление. А чем сильнее сопротивление, тем больше стараний, — дело неудержимо стремилось к коллапсу.

По ночам, удалившись на Кобергерштрассе, он читал рационализаторские предложения, публиковавшиеся под рубрикой «Письма читателей» в изданиях вроде «Клубнички» или «Слушай!». Письма писали профессорши, докторши и кандидатши; но это чтение лишь усугубляло его состояние. Они и с Геддой об этом беседовали: Гедда считала, что его положение полезно было бы обсудить. Он, естественно, так не считал, ему казалось, что в его случае верно как раз обратное (что, разумеется, тоже полная чепуха); он только диву давался, с какой серьезностью дискутируют женщины о мужских затруднениях. Из каждой такой беседы он выходил пустоголовым дурнем; сверху, из головы, все валилось куда-то в подложечье, становясь отвратительной кашей ярости и стыда, от которой пещеристые тела его инструмента объявляли многодневный бойкот. И все же подобные сеансы таили в себе

известный наркотический потенциал, он перестал от них уклоняться; пока не подметил, что участвует в них потому, что половой абстиненции такие разговоры очень содействуют. Они с Геддой затронули даже вопрос о его возможном гомосексуализме: вдруг он его еще не осознает. Ц. возразил, что он так не думает. Мужчину ему, пожалуй, легче убить, чем заключить в объятия. Гедду шутка не рассмешила; она женщина, и ее природа полагает неправильным все, что безответственно относится к продолжению рода человечества.

А при этом на Западе с каждой рекламной стены лучезарно сияют сексуальные обещания. Потребительские товары и общественные мнения, как видно, продаются, только когда они связаны с реализованной сексуальностью. То, что все это до сих пор не обернулось полной кастрацией западной цивилизации, внушало Ц. невероятное уважение к стойкости человеческих инстинктов; но он, к сожалению, тот самый частный случай, на ком сексуальные обещания сказались буквально убийственным образом. Об *исполненности* полового желания, каковое в этом своем качестве есть повсеместно господствующее состояние духа, можно было услышать либо

прочесть в любом публичном высказывании. Этот факт был настолько самоочевиден и укоренен в сознании широкой общественности, что всякий момент реализации речи в этой стране подчинен сообщению о нарастании степени исполненности полового желания. Для этого вам чего только не предлагают: автомобили, зубные щетки, телевизоры, туалетную бумагу… Поскольку заведомо ясно, что желание выполняется, то оно должно неуклонно расти, и речь может идти только о перевыполнении. Тут со всей очевидностью обнажалось удивительное совпадение с обычной гэдээровской брехней. В высокочтимой Федеративной Республике, стало быть, так же глупо мелют вздор, как и в социалистическом отечестве… можно, собственно говоря, сматывать удочки. Чушь отличается одна от другой только степенью эффективности; западная, однако же, респектабельнее, ГДР до этого еще расти и расти.

Что же касается зверя, который таится внутри — того, что он называл тварью и монстром, — то это, верно, пожалуй, итог всей его жизни, прожитой невпопад. Свое он прохлопал, это чувство бродило внутри, как дрянная жратва. Но он даже не знает толком, что такое это *свое* (неудивительно, ведь он его прохлопал), и что его побудило, и

как это он умудрился — ничего не знает. Да, пожалуй, и знать не хочет, чтобы не жить на краю пропасти незабвенных потерь… вот он на Западе, две трети жизни за плечами — что называется, лучшие годы… он не уверен, что может сказать так про свои. Он прошляпил это время, тут ничего не попишешь, и непонятно, как дальше жить с такой пустотой в голове. Сможет ли он худобедно осилить остаток жизни и не рехнуться, когда внутри подкарауливает эта ледяная ярость? Только одно, пожалуй, могло бы доставить ему короткое удовольствие: загнать бы их всех — кто чертил по стране границу, кто строил стену, кто оправдывал и воспевал эту стену в стихах, в политике, в полицейских указах, — всех, кто его стихи обносил стеной, кто футболил его из своих зачумленных редакций, кто в перерыве между совокуплениями спешил подмахнуть отказ, — загнать бы их в угол да наставить бы пулемет… вот он и вздохнул бы с облегчением.

Пока он там бегал как идиот от угольной топки к не менее черному письменному столу и обратно, у него было так мало времени и возможностей для любви, что на всякую женщину, какая подавала хоть малейший шанс, он кидался бешеным зверем; не удивительно, что быстро

выдохся. Чтобы окончательно не опозориться, распространил среди знакомых писателей легенду: в кочегарке-де потрахиваться сподручней — а в кочегарке наплел, что у него, мол, среди знакомых писателей завелась дама сердца. И порой просыпался ночью весь в поту, сам вдруг веря в свои небылицы.

В духоте спальни воспоминания становились абсолютно правдивы. Вспомнилось, как ночью он шел с незнакомой женщиной по узеньким закоулкам незнакомого городка; улички были такие же мрачные и извилистые, как в том городишке, откуда он сам когда-то приехал… и откуда, может, никогда и не уезжал. Он помнил каждое слово, что между ними сказалось, и как все искал глазами светлый отблеск ее плеча в темноте. Было душно, надвигалась гроза, к городу подкатывал гром, но они не пытались ускорить шаг. Один раз он осмелился коснуться ее белой руки, чуть влажноватой в парном воздухе, и она повернула к нему лицо — и тут как раз, ослепив, ударила первая молния…

Посреди записи его прервали; Мона, его лейпцигская подруга, заметила, что правой рукой он пишет, а левую, чуть согнув, выставляет вперед, прикрывая строчки, как будто хочет их спрятать.

Недоверчиво понаблюдав за этим, Мона сочла, что от нее что-то скрывают, он же, сосредоточившись, вовсе не замечал, как лежат его руки. Из этой ничтожной чепухи родилась ссора; Мона обиделась, он преисполнился сознанием вины… вместо того чтобы признаться, что эпизод — это только выдумка, позволил упреку повиснуть в воздухе, отступил в потный запах своей вины.

За окнами разразилась гроза, он встал с постели и направился было на кухню. Тут одна за другой засверкали молнии, он обернулся и увидел вдруг, как в темной неразберихе спальни вновь вырастает лицо той женщины. Безликое, без рта и глаз, точно овал, на который натянут белый платок… позвольте, но он же ее придумал! Она нереальна, она порождение его мозга, даже не мозга — беспомощно скребущего пера. Эпизод этот — выдумка, все его эпизоды — выдумка, он, наверное, и всех женщин, которых когда-то любил, просто-напросто выдумал.

В какой-то момент он решил счесть свои мысли смехотворными. За смехотворность эту долго цеплялся, как будто желая тем самым помочь себе выбраться из западни. Но на самом-то деле то были чувства; эти жалкие, в пух и прах раскритикованные создания он пытался преоб-

разовывать в мысли. И все эти мысли то и дело кончались бедой. Слишком долго высмеивал он свои чувства — как будто они не были его собственными, — десятилетиями выставлял их на посмешище, и не только перед собой (с тем, вероятно, чтобы обеспечить себе мало-мальски бестревожное существование в обществе). Сейчас все эти соображения вдруг растаяли. Он мягкий, как яйцо всмятку. Все выскальзывает из рук, для всего уже поздно. Он возмущен, но где же он раньше-то был со своим возмущением. Сейчас из его возмущения петрушка какая-то получается.

В подобные ночи он неизбежно доходил до точки, когда начинало мерещиться, будто вместо мозга и черепе пенится водоворот, клокочущая зияющая дыра, которой любого ответа покажется мало. Да, это так, у него в этом месте за лобовой костью пульсирует зев ненасытной вульвы, что обрекает его загнанную мужескость на поражение.

Однажды ему снился сон, страшный, в отеле Антверпена. Города он, как обычно, почти не видел — только вокзал, куда таскался каждые два-три часа все те немногие дни, что пробыл в Антверпене. От гостиницы вокзал отделяли какие-нибудь несколько сотен метров; это был

едва ли не самый большой и красивый из всех когда-либо виденных, настоящий дворец; вестибюль, подпираемый мощной колоннадой, сверкал мрамором и позолотой. Во сне вокзал вдруг куда-то исчез и дорога, спускаясь вниз, привела его в мрачный убогий квартал. Старые искривленные фонари еле-еле сеяли тусклова-тый, какой-то коптящий свет. Он уже подумал, не ошибся ли в направлении, как вдруг из тени низкорослых домишек выросла некая фигура, давшая знак: двигайся, дескать, дальше. Незнакомец шел рядом, вовлекая его в разговор на ломаном и корявом немецком; было чувство, что рядом с ним сумасшедший; он озирался, ища путь к отступлению, но выхода из переулка, кажется, не было. Вдруг незнакомец преградил ему дорогу, и отчетливо, на совершенно чистом немецком, спросил, не хочет ли он исповедаться. «Германофоб!» — пронеслось в голове; он вгляделся в лицо незнакомца: белобородый старик, довольно крепкого телосложения. Старик тянул его за рукав и все твердил, не проводить ли молодого человека на исповедь. В улыбке обнажилась безупречная челюсть, руки держали Ц. за воротник; захват крепчал. Ц. с силой пихнул его в грудь, старика отшвырнуло к каменной стене, но он все улыбал-

ся. Тут Ц. осенило, что это Бог… несомненно, это *Бог,* он уже видел его таким в своем воображении. В порыве ярости вперемешку со страхом он крепко схватил старика за горло. «У тебя — все, у меня — ничего!» — заорал он, но крик вышел слабеньким и визгливым. Старик по-прежнему улыбался; Ц. душил обеими пятернями, давя большими пальцами на кадык: «У тебя — все, у меня — ничего!» — взревел он опять. В этот миг он увидел, что шея увенчана женской головкой, женским лицом, которое ему улыбалось. Лицо было почти прекрасным, в ярком изысканном гриме, с разинутым ртом; под нажимом рук из кроваво-красного рта выкатился язык. Длинный, остроконечный, он подрагивал наподобие змеиного жала; обмануться было нельзя, женщина улыбалась с ехидцей. Ц. с испугу ослабил хватку, она спросила: «Хочешь — жопу покажу? За показ беру полцены…» За словами последовал смех, мягкий и тихий, он с бульканьем выкатывался из горла. В этот момент сон прервался; он очнулся в чужом, незнакомом городе…

Еще он вспомнил свою первую поездку в Париж, которой ждал с радостью и нетерпением. Париж был город Аполлинера, Андре Бретона, Макса Жакоба, Пьера Риверди… и остался таким

поныне: когда пришла наконец пора уезжать, Париж казался ему нереальнее прежнего. Линялый, погруженный в седой холодный морок город, улицы которого — собственно, всегда один и тот же бульвар, — мелькали фрагментами, калейдоскопом обломков, сдвинутых в россыпи отражений. Стоял один из тех переходных месяцев (он уж не помнил точно какой), то ли уже не осень, то ли еще не весна, температура менялась резко, среди голых деревьев на Монпарнасе, затопленном и обесцвеченном непроходящей мокротью, дождем, мокрым снегом, мокрым туманом, терялось всякое чувство времени. Поутру в сточных канавах вдоль широких тротуаров еще похрустывал лед, чуть погодя и он разжижался, перетекая во всеобщее расплыванье всего предметного, всех контуров и оттенков. Дождь зарядил с самого дня приезда, капанье, возникшее враз, без предупреждения, то всплывало, то оседало в воздушно-газовой смеси, и за час все население этого континента многосложных строений преобразилось в несметное полчище странных панцирных моллюсков; набрякшие под черными сочащимися зонтами, они продвигались рывками, вприпрыжку, жутковатыми темными скатами реяли над водой, ползли диковинными

прямоходящими улитками. Казалось, трупного цвета Сена вышла из берегов и гонит ущельями улиц размокший распавшийся мусор; из зеленовато-белесо-сизых водных завес, свисающих с крыш, скалились подвергшиеся мутации сюрреальные трупы, желающие побеседовать с ним с глазу на глаз. Четыре дня, четыре дождливых дня и четыре дождливых ночи, он расхаживал по Монпарнасу, в кафе и бистро безостановочно пил горькое датское пиво, отдававшее серой и мочой, заказывал его на жалкой помеси английского и французского, и гарсон приносил бокал, морщась от отвращения. Большего он позволить себе не мог, гонорар на исходе, чтения давно закончились; сообщение с Нюрнбергом скверное, всего два рейса в неделю, нужно ждать. Вот он и ждет, одежду уже не высушить, все провоняло гнилью и плесневелым табаком; он вонял, как его полусгнивший джинсовый костюм, во Франции такие уже не носили; холодный, точно долго лежавшая в воде деревяшка, материал как будто легировал с его прелой бугристой кожей, с этим до всегдашних мурашек отнаждаченным эпидермисом; даже кровать в небольшом монпарнасском отеле вся пропахла мохом и углем, как будто его вываривали в этой постели в те короткие часы сна,

что он криво, словно сошедши с рельсов, лежал на непривычно застеленной французской койке и смутно грезил о своих саксонских лесах, думая, что вот-вот вскипит, накалившись от электричества, поджигающего под окном струи дождя; потея угольно-черной слезой, проникавшей из каждой поры, чувствуя, как вся внутренняя субстанция выходит из тела, просачиваясь в матрас.

По прибытии он заявил, что хочет как можно больше увидеть в Париже, что рад побывать в Париже (хоть тут, по крайней мере, не врал), и теперь, когда устроители оставили его в покое, у него не хватало мужества позвонить и признаться, что он совершенно беспомощен. Питался одним Café au lait и воздушно легкими круассанами; засыпал лишь к пяти утра, за окном уже давно гремел транспорт, и спускался вниз, когда завтрак давно закончился. Но консьерж, любезный старик, с лица которого не сходила ироническая улыбочка, всегда умудрялся наколдовать несколько круассанов. В стороне от того помещения, где утром подавали завтрак и где уже все убрали со столов, он сидел, трясясь от озноба, в огромном кресле, будто нагруженный мельничным жерновом утопленник, и хлебал свой кофе с молоком; консьерж иронически-заботливо

взирал на эту картину. Он немного говорил по-немецки и, когда Ц. возникал в фойе, все норовил сказать шутку. «Ах, мсье никак не проснуться! Они всю ночь внимали Лесному царю…»

Книжная лавка, в которой прошли его чтения, именовалась «Le Roi des Aulnes», «Лесной царь», и находилась неподалеку.

Во время самой длительной своей прогулки он дошел до гигантской *Arc de Triomphe;* минут пять стоял под обложным мелким дождиком на тротуаре, дивясь на могучий бессмысленный монумент. Когда брали Париж, под его аркой прошли немецкие войска; отца здесь не было, он добрался только до Кале, прежде чем его отправили в Сталинград. Вызывая в памяти известную фотографию, запечатлевшую немецкий военный парад, он думал о том, что деревья на обочине — справа и слева от Триумфальной арки — с тех пор, когда они совершенно случайно попали в кадр, как будто и не росли…

Он повернул назад и вскоре опять погрузился в кресло в фойе своего отеля. Тяжело дышал, чувствовал запах своих стареющих седеющих волос, вдыхал блеклую сырость щетины, мыла, которое в ней осело, целые эры ужасного жирного мыла, затонувшие в бороде, и слышал запах своих

мозгов, от них парило, как от старой каменной кладки с заплесневелым цементом, покрытой темно подмокающими гнездовьями, в которых кишат неведомые паразиты.

Вскоре после прибытия на Монпарнас с ним приключилось странное, обратное превращение. На этом бульваре, который он представлял себе куда большим, и где уже с наступлением послеполуденных сумерек зажигались огни, освещались витрины, в пустых кафе загорались лампы, посреди этого печальной сыростью охваченного Вавилона, он вдруг снова стал тем, кем был по факту рождения. Гражданином ГДР, безо всяких оговорок, — он снова тот, кем был раньше, это конец… отродясь не чувствовал он своей гэдээровской идентичности так ясно и безысходно; даже в той самой стране, которая, быть может, уже отжила свой век. Ему ничего другого не оставалось, кроме как счесть эту идентичность *неполноценной.* Вопреки всякому эмпирическому рассудку, он носил это чувство в своем стареющем теле и ничего не мог с этим поделать…

Когда он мотался по городам и весям, его то и дело настигало чувство старения. Прежде он оставлял его без внимания, отодвигал в дальний угол — теперь же внутри поднимало голос

тяжелое возмущение. Он срывался с места, выскакивал из купе, проходил по вагонам (в поисках ресторана), шел скоро, пружинисто, гибко, как хаживал раньше, в давнюю пору, когда был другим: крутил плечом, вздергивал подбородок, рука ерошила волосы, будто на черепе — огненный вихор, в другой руке он держал сигарету, далеко отводя ее, экзальтированно-вальяжно, как Дэвид Боуи на сцене. А через секунду в одной из стеклянных дверей видел свое отражение: растерянное измученное лицо, изборожденное морщинами раздражения, потемневшие потные складки стремятся вниз, в глубину, запуганный старенький коротышка с выпирающим пузом — и не более. Пузырь внутри мигом сдувался, он бежал обратно в купе. Накатывал ужас, против него он был беззащитен, все внутри постепенно сливалось в ужасную, горькую, как полынь, печаль. Он гневался на неизбежность, это делало гнев необратимым. И оставалось только одно: направить гнев против себя, против своего тела, против своего страха, против своей печали, против своего *естества*… внутри будто начинали бить подземные ключи, из которых внезапно, как из множества вспоротых вен, неудержимым пульсирующим потоком хлынула ненависть. Он

вцеплялся в бутылку, стоявшую на откидном столике у окна, и, цепенея, вслушивался в беззвучное поскуливание где-то в теле. Проходило какое-то время, прежде чем он душил эти чувства; тогда к нему возвращалась способность думать.

Эта страна там, за кордоном, пожрала его время! Этот предбанник реальности. Страна, истекающая слабоумием, изуродованная старостью, измочаленная, угробленная, изношенная, вонючая, как навозная яма, она напитала его тленом, парализовала рефлексы, высосала из жил желание; там его мозг закоснел, как механизм склеротичной стиральной машины. Он слишком поздно сбежал из этой страны…

Вообще-то он не любил говорить о том, что творилось у него в душе. Это стыдно, по сути, ему и думать об этом не хочется. Это очень стыдно, это совсем ему не подходит. И поразительно, сколь неуязвим он для таких пароксизмов, когда вокруг люди… припадки случаются, только когда он один.

Только когда запирается ото всех, когда уверен, что не застанут врасплох — и когда так легко родиться мысли, что тебя уже нет в живых, — тогда внутри разливается этот поток черной желчи, берущий, верно, свое начало в подлинном осадке

всего его существа. И сразу за тем набегает волна стыда… если бы его попросили сказать, что дает повод тому стыду, он молчал бы точно воды в рот набрал. Этот стыд неразрешим, его не пробьешь и не прояснишь; только и думаешь, как бы завуалировать или развеять…

И почему-то даже в голову не приходит спросить себя, есть ли причина стыдиться. Защиты от этих внутренних состояний нет, они долго таились внутри… и вдруг поднимались, требуя для себя пространства, и он отступал с поля брани. Поражение делало вид, будто оно часть его натуры; во всяком случае так он это ощущал. Мироздание как будто ни с того ни с сего измыслило для него иной путь. Для него это полная неожиданность, какой-то неведомый бог облапошил его таки… а заодно наделил стыдом за несоответствие прежней роли. Словно ты всему миру морочил голову, а теперь тайное получает огласку…

Весь мир всегда считал его сильным, он же слишком охотно подыгрывал в этом спектакле. Заигрался, должно быть, слишком долго утаивал свою слабость. Теперь боится, что они *всем миром* (что за чертовское выражение!) повернутся к нему спиной. К слабому всякий не прочь повернуться спиной… он по себе знает: не в том

ли состояла и его сила, чтобы показывать спину слабости?

Впрочем, в процессе размышлений для стыда отыскивались причины, которых никоим образом нельзя было исключать. На Кобергерштрассе, в так называемом «кабинете», стоят два ящика, битком набитые книгами, картонные ящики, разобрать их он не в силах, все ходит вокруг кругами. В тех ящиках (так ему виделось) — собранный воедино ужас двадцатого века. Приехав на Запад, он сразу стал собирать книги, в которых весь этот ужас задокументирован, описан и осмыслен. Эти книги, сказал он себе, содержат непреложное знание этого века, единственное *воистину нужное знание двадцатого века.* И он собирал их маниакально, с неукротимой жадностью, возводил вокруг себя стены из книг, окапывался, замуровывался. А потом обнаружил, что между грудами книг ему не хватает воздуха и в порыве ночной паники уложил их в два ящика. Посадил под замок, надписал. Ощутил себя лагерным надзирателем. Временами они ему снились: они стояли во тьме двумя догорающими печами, от них исходило слабое свечение, тянуло сернистыми испарениями. Его бросало в пот, в груди спирало дыхание; он вскакивал, включал

свет, шел к ящикам. Вот они стоят и не движутся. Сверху черным фломастером накарябано: *Холокост атр; Гулаг.*

Вот они стоят, эти два дымящихся ящика, вобравшие весь упрек миру. На фоне этих ящиков, до отказа наполненных непридуманным ужасом *Нового времени,* рассеянным в лепете невечного типографского шрифта, всякая жалоба — труслива, ребячлива, беспредметна. Жалобы человека, который держит в своем доме эти ящики, смехотворны, как крысиный свист. Стыдись своего недовольства, ненавидь себя, коли еще можешь чувствовать горе, храни молчание перед лицом безумия, что лишило достоинства всякую речь.

А сильные мира сего должны, по существу, испытывать благодарность, невероятную благодарность к *феномену Освенцима*... потому и берегут его пуще глаза. И не только там, на Востоке. И если бы этого феномена не было, то пришлось бы им восполнить пробел... но это уже из области мыслей, которые не следует иметь в голове, если не хочешь, чтобы общество подвергло тебя остракизму.

С этим я останусь один, думал он, когда поезд мчал его по стране. Овладев собой, он мог рассуждать мало-мальски ясно. В последнее время

все чаще случалось ему задаваться вопросом, *как* с ним сделалось то, *что* с ним сделалось… и все чаще внутри копошилось зловещее чувство, что размышлять, вообще говоря, поздно. Он испытывал бездонный ужас при мысли, что упустил все возможности распознать свое истинное назначение… панически кружил вокруг пустоты, и этот страх сплетался в неразрывный узел с другим, непознаваемым детским страхом, который выжил в каком-то заповедном уголке души. Я останусь один с моим прошлым, думал он, и с моим несказуемым страхом. И всегда, когда буду пытаться об этом прошлом рассказывать кому-нибудь — слушателю, читателю, — ничего из этого не выйдет, кроме литературы. Из своего страха я сделаю что-то вроде *шоу*, прошлым буду обладать, затем чтобы быть забавным…

Как ему с такими мыслями ездить на чтения… как вставать перед публикой, если он не что иное, как пустой шарлатан без всякой внутренней опоры.

Как бы так сделать, спрашивал он себя, чтобы до прибытия в город, где назначены чтения, обрести форму, в которой он будет способен выступать. В самом деле, бывало так, что он до самой последней минуты, уже усевшись перед

двумя-тремя рядами доверчивых людей и вроде бы готовясь приступить к чтению, разрабатывал планы бегства, мечтая, как бы исчезнуть… пока не соображал, что самый верный способ исчезнуть — это начать читать то, что он называл своим *текстом.* Но голос не слушался: едва он приступал к чтению, в глотке что-то объявляло протест; в гортани, видимо в области связок, возникало странное сопротивление, простыми физиологическими причинами не объяснимое — ни ограничить, ни устранить затруднение было невозможно. Словам, выносимым дыханием из груди, как будто приходилось преодолеть преграду: это был не ком и не стеснение в горле; слова как будто проделали долгий-предолгий путь; они выталкивались на волю спутанные, истрепанные, раздавленные, искаженные хрипотой. За время долгого странствия слова состарились, стали немощны. Они прошли через враждебные атмосферы, древние пустыни, эпохи распада, выходили запылившимися, просоленными, высохшими в мелко струящемся песке; извергнув их наконец в электрическом свете перед маленьким подиумом, он чувствовал во всем теле изнеможение, сопротивляться которому мог лишь с огромным трудом.

Пока он шлялся по этим чтениям, время так и летело: не успел оглянуться, как два… три… почти четыре года прошло. На фоне слов, через него проходящих, слов, выделяемых им на чтениях — сенильных, хрипатых, подчас еле внятных, на фоне древнего их генезиса, далеких степей и пустынь, откуда они, вероятно, пришли, — несколько невзначай упорхнувших лет не имели значения. У него и любовь за это время прошла, он и ее проглядел. Гедды больше нет рядом, она исчезла, где она — неизвестно. Нет, ему и впрямь было невдомек, что он ее любил, он не понял того, не верил своим чувствам — а ее чувствам и подавно, он эту любовь запорол, загубил, всегда безотчетно ее бежал, даже слово *любовь* не умел произнести. А осмеливаясь, всякий раз подозревал себя во *лжи*… теперь все кончено, по крайней мере очень на это похоже, и где-то внутри сосет тупая неясная боль, и в существование этой боли он тоже не мог поверить. Он вспоминал, какого числа это было… перед самым началом осени, в сентябре 1989 года, числа четырнадцатого-пятнадцатого, стояла жара, как в разгаре лета. За две недели до того, в конце августа, был его день рождения, Гедда ушла… не простившись. Она ушла, это ужасно, иначе не скажешь. С неделю он пил,

чтобы отключить рассудок, потом, в приступе паники, пить перестал — стал вспоминать. Он мерзко трусил, это чувство завладело всем его существом: он прятался, но спрятаться от этого чувства не было шансов… Гедды нет, связаться с ней невозможно, и с этим нельзя ни жить, ни умереть. Она, бывало, и раньше на пару недель пропадала, но звонками, письмами, расспросами подруг и знакомых он всегда умудрялся ее найти; на этот раз чувство сказало ему, что все кончено.

Из возмущения его бросало в слезливую чувствительность, из суетливой деятельности в унылую нерешимость, страшная ярость против себя нарастала внутри. Он знал, что Гедда где-то сидит и страдает из-за того, что принудила себя к этому шагу. Она сделала это ради самосохранения… он с ума сходил от жалости к ней. Но для жалости этой сейчас уже поздно…

В квартиру на Кобергерштрассе он приходил через силу… он и раньше-то выдерживал здесь только из-за соседства с площадью Шиллера, где жила Гедда. Он торчал в этом городе, совершенно чужом, и не знал зачем. Когда он переступал порог своего обиталища, казалось, будто он добровольно спускается в подземелье, где в спертом сернистом запахе боли только и возможно, что

слушать свое дыхание, прерывистое, громкое, трудное; и где возникает чувство, что для того, чтобы убить себя, достаточно просто быть. В тот сентябрьский вечер, неизвестно какого числа, он прошел через Бургберг с чувством, что ажиотаж людей, единодушных в своем жизнелюбии и страстном желании удовольствий, обращает его в бегство; перед тем как приблизиться к тому, что он, покачивая головой, называл своим домом, сделал большой крюк. Дома его встретили тени застарелой пыли, что заволокли все вокруг своей серой горечью, сухие пожелтевшие листы бумаги, завернувшиеся по краям; самым внятным здесь был пронзительный вой соседских псов, от которого не было спасения, казалось, эти звуки выносились из преддверия ада. Он купил пластинку, он уже дюжины пластинок накупил, пытаясь гремящей музыкой заглушить собачий скулеж.

* * *

В первый год Ц., тогда еще обладатель неистекшей визы, рассорившись с Геддой, регулярно сбегал — уезжал к матери в М. Теперь и это осталось в прошлом: он снова и снова собирался подать на продление, в последние два года сие ре-

шение принималось раз в четыре недели, он уже чувствовал, что неисполненный замысел становится манией… Знакомые писатели, обладатели так называемой «трехлетней», а то и второй по счету трехлетней визы, говорили ободряющие слова: если визу тебе уже однажды давали, все равно на год или на три, то продлить ее — проще простого. Только нельзя с этим тянуть, иначе обоснование в ходатайстве утратит правдоподобность. Ходатайство он так и не составил, все время откладывал, а порой забывал — как забывал все, что могло привнести в жизнь порядок. И обнаруживал, что настоятельную потребность ездить в ГДР ощущает только в припадке алкогольной сентиментальности.

В последние годы мать, бывало, сама наезжала в Нюрнберг, но сейчас он был не в силах ее пригласить. Она, как всегда, приехала бы с удовольствием; он знал, что мать прониклась к Гедде глубокой затаенной симпатией: ей уютно в их обществе. Это-то и мешало позвать ее в гости. Он и раньше испытывал прямо-таки неодолимую робость, стеснялся признаться матери, что в отношениях с Геддой не все идеально, что они поочередно сомневаются в прочности их союза и случаются пугающие размолвки, которые подчас

кажутся непоправимыми. Сейчас, когда отношения, по всей вероятности, вконец разбиты, он не мог сказать матери правду: словно пришлось бы признаться в злодействе, в умышленной подлости, за которую ни перед кем так не стыдно, как перед матерью. Ц. чудилось порой, будто мать подозревает о его поражении (оно еще только намечалось), она все чаще и чаще справлялась о Гедде. Его ответы сделались односложными — она стала лавировать, говорила обиняками, огорашивала каверзными вопросами, и даже когда заговаривала о другом, чувствовалось, что постоянно прощупывает: как там у них с Геддой? Засыпала его поручениями передать Гедде то-то и то-то, а после, бывало, позвонит и первым делом: все ли он правильно передал и что Гедда ответила… ничего не оставалось, кроме как плутать в лабиринте вранья, из которого было теперь не выбраться. Она уже обращала внимание сына на некоторые расхождения в ответах; мало-помалу общение с мнительной, вечно что-то выведывающей матерью превратилось в кошмар, он стал уклоняться от разговоров. У нее самой телефона не было, но он имелся у одной из соседок; обычно она звонила в условленный час, и всякий раз, когда час этот надвигался, он с замиранием сердца

садился у аппарата, со страхом ожидая звонка.

Сидел перед истошно трезвонящим телефоном и не снимал трубку… из головы при этом не выходило: а вдруг это Гедда. Где-то в подложечье давило глухой, трудноописуемой, печально знакомой тяжестью; сердце как бы сжимал грубый кулак, в мозг переставала поступать кровь, начиналось удушье; распространяясь вниз, тяжесть под ложечкой неминуемо вызывала сильнейший понос. Хватая ртом воздух, он сидел на кухне, стараясь справиться с телом, заставить разум работать. Наконец шел в одно из ближайших кафе, пытался припомнить ситуации, вызывавшие сходные приступы паники. Быть может, когда он раньше проигрывал поединок… разве порой проигрыш не казался ему позором? Да, чувство стыда было, но куда больше его занимало, как бы так наловчиться жевать без боли вывихнутой нижней челюстью да поскорей остудить ломтями сырой картошки громадные синяки. Нет, гораздо хуже бывало, когда от отчаяния в голову приходила разрушительная идея — отстучать на машинке пару стихотворений и разослать по издательствам ГДР. И когда потом — если вообще удостоят ответом — приходили отказы. В них ясно прочитывалось, как редакторша еле сдерживает

негодование: надо же как пристал… словно он пытается ее изнасиловать. Она плевала ему в лицо залпами одиозных вокабул, проводила с ним инструктаж, как ковать свое счастье посредством женитьбы, деторождения и месткомовских путевок и что срочно необходимо найти нормальную, осмысленную работу, для чего ему все пути, кстати сказать, открыты. Вспоминались дни, когда, получив такое послание, он открывал на кухне все краны с газом… пока не замечал, что забыл закрыть окна. А когда вечером приходил на ночную смену справлять свою осмысленную работу, в теле все еще бушевала смесь паники и стыда; зная себя, он понимал: пройдет неделя, прежде чем бурление уляжется. А впереди еще два или три сходных отказа, — в приступе мазохизма он отпечатал стихи в двух или трех экземплярах; облегчало душу лишь то, что ответы, как правило, не приходили вовсе, ибо тексты — его единственная отрада, единственный шанс выжить — сразу перекочевывали в мусорное ведро. Загрузив под душными сводами своего угольного бункера первые семь-десять центнеров брикетов на телегу, в изнеможении остановившись (безысходность подтачивала выносливость), он вдруг видел — по глазам лился пот, все плыло в красновато-желтой

мути, именовавшейся светом, — как у закопченной кирпичной стены стоит редакторша и хохочет. Правда, они незнакомы, она существует только в его фантазии: дама в очках, ему нравятся дамы в очках. Она, верно, над ним смеется, над кем же еще? Однажды он с воплем ярости метнул в редакторшу вилами, прямо в горло, пригвоздив отполированными зубцами к стене. С полминуты ревел, точно дикий бешеный зверь, покуда не показался себе полным кретином; вилы, конечно же, никого не пронзили; застряв в прогнившей стене, они покачивались в воздухе с удивительной легкостью. Рев отгремел, никем не услышанный, кочегарка была далеко в степи, на клочке земли меж завалившимися заборами, за городом и за окрестными деревнями, там только мертвый пепел под звездами, кучи мусора, ковыль в человеческий рост да грязь.

Или же это чувство настигало его, когда в ящик, бывало, бросали очередную повестку в Штази… позже, когда в узких кругах он уже прослыл писателем. Они это делали загодя, с расчетом, чтобы тебе неделю трястись и гадать о причине; сама же беседа могла занять минут десять и оказаться пустячной. Но неделю в кишках выло бессилие, мир виделся будто через искажающее стекло,

чашки с кофе опрокидывались на брюхо и ни одна строка из того, что он пытался читать, не оседала в сознании. Когда он потом туда приходил, его вели по коридорам ведомства: двое служивых, всегда приотстав на полшага. Если он вдруг решал обернуться, они говорили: «Смотрите вперед. Продолжайте движение». И он глядел вперед, продолжал движение и ждал выстрела в затылок.

Нет, это не шло ни в какое сравнение со страхом перед звонками матери. За этим страхом крылось нечто иное; причины, казалось, лежали куда глубже, он полагал — быть может, ошибочно, — что они по сути своей непрояснимы. Так много имелось разнообразных причин, могущих спровоцировать это чувство: внезапный и неотвратимый произвол, когда тебя душит власть, хватающая без разбора. Помогала, и конце концов, только выпивка, она приглушала давление, смиряла с мыслью, что придется жить без малейших надежд на будущее. В самые скверные периоды нельзя было оставлять этим эмоциям ни сантиметра пространства: едва спадал хмель, страх немедленно заполнял каждую клетку.

Гедда, помнится, частенько советовала ему пройти курс психоанализа. Он защищался:

— Если ты будешь со мной, то мне никакой аналитик не нужен!

Но Гедда сомневалась в том, что его проблемы разрешатся столь простым образом.

— Ты, конечно, уже подумал, — говорила она, — что я *не* захочу остаться с тобой, если не верю в такое простое решение.

Он улыбался, соображая, что намечается очередной бесконечный спор, из тех, что длятся ночами; и что скоро он ринется к холодильнику сделать первый глоток. Что ж, в словах Гедды была доля истины, мысль о том, что она может его покинуть, его порой посещала.

— Да и вообще, — сказал он, — курс затянулся бы слишком надолго, визы на это не хватит.

И вот они снова подбирались к главному: что он никак не может сказать, где же он, собственно, хочет жить, на Востоке или на Западе. И что скорее всего сам того не знает. И что, вообще говоря, это он без конца угрожает своим уходом.

Он и в самом деле питал сильное отвращение к психологическим и псевдопсихологическим пошлостям, о которые здесь, на Западе, спотыкаешься на каждом шагу и с помощью которых делают большую часть своей прибыли иллюстрированные журналы. Видно, идеи психоанализа

только затем и нужны, чтобы увеличивать тиражи известного сорта периодики, от которой волосы на голове встают дыбом. Как-то раз случилось ему открыть забытый кем-то в купе журнал, один из этих пестрых развлекательных воскресных иллюстрированных журналов, с безупречным оскалом на первой странице обложки и оголенным бюстом на пляже — на последней. Едва он открыл журнал, как жирный заголовок бросился ему в глаза: *Мужчины! Сильная привязанность к матери приводит к проблемам с потенцией!* Вместо того чтобы расхохотаться, он с яростью зашвырнул журнал в дальний угол. И тут же захотелось нагнуться, поднять, жадно прочесть статейку под заголовком. К счастью, в купе вошли люди, подобрать журнал он не посмел. Вжался, содрогаясь всем телом, в свой угол, уставился в окно… Опять оно, это дрожание ниже пояса! Но отчего же такой вот заголовок, такая примитивная приманка для глаза ножом в кишках проворачивается? Отчего заголовок не показался ему смехотворным! И, даже понимая его смехотворность, он не смеется?

Оттого, вероятно, что он сам — смешон! Все клетки его организма, не наделенные в прошлой жизни любовью, мало-помалу заполнялись тя-

гучей глупостью. Глупость, что лезет в Европе у каждого из ушей, отдает предпочтение именно таким пустехоньким клеткам. А он ими доверху нашпигован. Это гротеск какой-то, с таким-то запасом хоть в варьете выступай.

Тут ему вспомнилось, как он в последний раз перед окончанием визы ездил в М., маленький городишко к югу от Лейпцига, где родился и вырос. Дело происходило осенью, примерно в то же время, что и вторые венские чтения; вероятно, сразу же после «побега из Вены» — так Ц. называл глупый инцидент — он с промежуточной утренней остановкой в Мюнхене отправился в ГДР; он уж точно не помнил, помнил только, что той осенью одолевали тяжелейшие страхи, было уже не до ориентации во времени и пространстве. Отношения с Геддой поминутно грозили рухнуть; она не так уж часто произносила это вслух, но Ц. понимал, что его торопят с решением. Чем больше проходило времени, тем невозможнее было решиться. Он пил все сильней, ощущая себя преступником; вопрос, где и с кем ему хочется жить, давно сменился вопросом, хочется ли ему жить вообще.

Он прибыл в М. ранним вечером — из Лейпцига ехал на электричке через районный центр А., — в

дороге сообразил, что мать о его приезде не знает; однажды, нагрянув так же внезапно, он вообще ее не застал, и пришлось пару часов провести в ожидании. От вокзала он двинулся через город длинной дорогой; желтое, уже слегка потускневшее осеннее солнце освещало улицу с запада. Оно опустилось между домами, но улица прорезала город стрелой с запада на восток, и, шагая по ней, он ощущал спиной тепло золотисто-желтых, уже красноватых лучей. В городе царило торговое оживление, народу было полным-полно, но каждый был так занят собой, что ни одна душа его не узнала, не окликнула. Подойдя к кварталу, где жила мать, он вдруг увидел старушку прямо перед собой. Она выходила из продуктовой лавки, нагруженная двумя кошелками. Он смотрел ей прямо в лицо, она тоже на него поглядела, да, верно, не узнала. Посмотрела растерянно, отвернулась и побрела в сторону дома. Он замер на месте… вот она вновь оглянулась, прищурилась, солнце слепило глаза, он стоял в кучке людей, копошившихся перед входом в универмаг; нет, она его не увидела, медленно побрела привычным путем, с трудом волоча кошелки.

Он поставил сумку на землю и переждал. Что здесь произошло? Он знал, что все последние

годы у матери падало зрение, она сокрушалась, что во время поездок в Нюрнберг ей приходится из-за этого несладко.

Он выбрался из толпы и пошел за матерью, на расстоянии метров примерно в двадцать. Как медленно она идет! Он ужаснулся, поняв, как она постарела, за очень короткий срок вдруг стала совсем старухой; она шла неуверенно, осторожно-осторожно, сгибаясь под тяжестью кошелок, взгляд устремлен к земле, наверное из-за болезни глаз, глаукомы… она рассказала, что однажды ее сшибли с ног, когда она шла в магазин, и, пока кто-то не подал очки, так и лежала на мостовой.

Навстречу матери шла одна из ее соседок; женщины остановились перемолвиться парой словечек; он стушевался на боковую улицу, чтобы его не увидели. По ней добрался до улицы, параллельной той, на которой жила мать, затем повернул еще на одну боковую, которая выводила на улицу матери, в двадцати-тридцати метрах от ее дома.

Он видел, как мать приближается, медленно, шажок-другой, бесконечно долго переходила она наискосок через проезжую часть и брела до подъезда; переход улицы давался с трудом, она то и дело смотрела по сторонам. Он затаился за

углом, чтобы его не заметили. Мать отперла подъезд, поставила ногу на порожек, прислонилась плечом к косяку и, не выпуская ручек, опустила кошелки наземь; минуту передохнула. Вид у нее измученный. Подняла сетки, вошла в подъезд; дверь захлопнулась.

По боковой улице он вернулся назад, кратчайшим путем дошел до вокзала и поехал обратно в Лейпциг. — По дороге наблюдал в поезде за пассажирами, в основном за молодежью: как те сидят на скамейках и слоняются по вагону, говорят, болтают, быстро, много и громко, врубают на всю катушку магнитофоны, тянут пиво, с безудержным энтузиазмом отпускают в сотый раз одну и ту же остроту. Казалось, они были полны жизнелюбия… никому из них поездка на Запад и не светит, все они пленники этого *реального социализма,* а надо же, преисполнены радости, наполнены до краев любовью, так и лучатся гордостью и энергией…

Он подумал о Марте; приезжая в Лейпциг, он всегда первым делом думал о Марте, жене своего друга Г.; думал о том, что у Марты, вероятно, сможет переночевать. Марта в его затруднениях нравственного аспекта не усматривала, никогда не пыталась быть ему цензором. Марта — хруп-

кая женщина, у нее из-за близорукости порой довольно беспомощный вид, большие мягкие груди докучают ей своей тяжестью. Ц. был помешан на этих грудях, а она все его попрекала:

— Ну, что ты все титьки мои теребишь, забыть о них не даешь. Они мне и так на нервы действуют.

Г. оборачивался — обычно он шел на пару шагов впереди: ему необходимо было вести процессию — и изрекал:

— Да ладно тебе, пусть тешится! Иначе он себя чувствует как пятое колесо в телеге, что с дурака возьмешь.

В Лейпциге Ц. решил сесть на первый попавшийся поезд, который привезет его обратно на Запад: в Нюрнберг, Мюнхен, во Франкфурт-на-Майне, все равно куда. Или в Берлин, там быстрее всего перейти границу…

После того как срок визы истек, чтения начались в полную силу. Ему присудили известную литературную премию, после чего приглашать стали еще чаще. Теперь он выдерживал чтения гораздо более стоически, разуверившись и смирившись, он подчас даже весьма убедительно продемонстрировал собственную персону в ее путаной не-идентичности (анти-идентичности)

растерянно прячущей глаза аудитории. Такой вечер, размышлял он потом, стоило бы отметить галочкой как удачный. Ясно, что попался как кур в ощип: если все хорошо, то тебя принимают, даже, бывает, восхищаются как писателем, но любви там не обретешь…

После чтений, как правило, шли в ресторан — поужинать или выпить. Всякий раз он сидел там как на иголках, в застольных беседах участвовал с превеликим трудом; по-видимому, удавалось это только ценой полного самоотречения, которое на несколько часов повергало его в состояние дезориентации. Если после ужина его не отвозили в гостиницу на машине, то, бывало, он целую вечность плутал по чужому городу, который складывался все более сложным узором, в панике разыскивая отель, находившийся, как ему поначалу казалось, сразу за углом.

То было время, когда в самых разных гостиничных сетях вводили так называемое «Pay-TV». Нажимая па кнопку пульта, постоялец мог посмотреть в своем номере видео — предлагалась обычно подборка из четырех разных фильмов; сигнал о включении регистрировался, при погашении счета взималась наценка примерно в двадцать марок за ночь. Предложение нацелива-

лось на кошельки скучающих командированных, которым фирма платила, как правило, только за номер; так называемые «экстрауслуги», как то: телефон, мини-бар, химчистка и это самое «Pay-TV», — на ваше личное усмотрение. И если мужчина не расположен идти в бордель, то у него остается возможность примерно за двадцать марок извергнуть семя в телеэкран, поскольку как минимум две программы состояли из порнофильмов; на английском и на немецком, что, впрочем, особого значения не имело, ибо весь звуковой ряд был намешан из подвываний и столь же подвывающей музыки. За очень короткий срок, примерно за год, все сомнения при отборе программ, кажется, были отринуты: если первоначально показывали софт-порно, безобидное кинишко, в котором нижний край кадра тщательно совмещался с границей лобковой растительности, то очень скоро это ограничение исчезло. Теперь задача свелась к тому, чтобы разместить по центру экрана более или менее освещенную вульву и продемонстрировать, как в нее с механической равномерностью вводится член.

Самым удивительным в этом кадре было упорство, с которым в течение бесконечно долгих

минут показывалось это неизменное туда и обратно, не менее удивляли и затяжные стоны и повизгивания героини, которую обрабатывал внушительный инструмент, судя по всему без малейшего воздействия на ее эротическое самочувствие; ухо воспринимало лишь музыкальное сопровождение да шумовую кулису, в которой герой участвовал редким всхрапом и которая даже не нуждалась в синхронизации: лица актеров значения не имели. Чуть погодя возникало крепкое подозрение, что стоны и хрюки есть результат акробатического усилия, какое нужно затратить актерам, дабы глаз кинокамеры мог бы каждый миг беспрепятственно фиксировать совокупленные гениталии. Нельзя, стало быть, чтобы их заслоняли, допустим, ляжки, которые то и дело мешали и все искали себе укромное место где-нибудь за пределами кадра, чтобы оттуда амортизировать ритмичную качку, выступая подпорками и придавая равновесие всему телесному сооружению.

Второй серьезной помехой были волосы актрисы в тех сценах, когда она силилась ртом привести пенис партнера в стоячее положение. Белокурая волнистая грива падала, точно занавес, закрывая фокус событий, похоже, как

раз тогда, когда намечался успех и твердеющий член все резвее ездил взад и вперед меж ее губ. Досадливым движением руки она откидывала роскошные локоны за уши — очевидно, по настоятельному приказу оператора, — но стоило девушке страстно мотнуть головой, как густые пряди снова летели вперед; как бы ни была хороша шевелюра актрисы, она лишала всех, в том числе зрителя у экрана, возможности сосредоточиться на существе событий.

Конечное же соитие — голый и неизбежный половой акт — являло собой самую вязкую часть показа, тем более что отправлялся, как бы повинуясь догме учебного фильма, во всех существующих вариантах. Очередность была несущественна либо определялась тем, как с минимальными временными потерями предпринять смену поз: всякая разновидность служила единой цели: разместить мужское, скитальческое, наружное, в глубинах женского, нутряного; результат был настолько известен заранее, что тут и слово-то *цель*, по существу, не годилось.

Заключительным являлся, как правило, тот вариант, когда она стоит на коленях, в то время как член вводится *сзади* (таково популярное обозначение этой полиции) в открыто подставляемую

плоть; сия позиция, похоже, обеспечивала нечто вроде освобождающей развязки, этот ракурс, должно быть, легче всего заснять на камеру. Но и здесь исполнитель, вместо того чтобы удобно расположиться между раздвинутых ляжек партнерши, вынужден был исполнять свой труд из сложной стойки на полусогнутых, почти в позе наездника, перенеся весь свой вес на согнутые да к тому же еще раскоряченные ноги; руками он опирался на женский круп, как на спортивный снаряд. Сколь тяжко ему приходится, заметно было по икрам, по которым нет-нет да и пробегало судорожное дрожание, несмотря на то что актер — это видно — в отличной физической форме. И тут уже ничто не препятствовало бы свободному взгляду камеры, если б не свисающая мошонка, которая — устранить ее невозможно, это рок, который не сделать прозрачным, — безостановочно, с подлым размахом, качалась туда-сюда перед отверстием героини. Оператору приходилось снимать снизу, уклоняться от докучливого мешковидного образования, по-хорошему, нужно было бы снимать из дыры в полу. До того, чтобы прикрепить морщинистый кожистый мешок куда-нибудь к ляжке пластырем, никто не додумался, производителям подобных фильмов

чужды художественные озарения. И через какое-то время ты задавался вопросом, не издает ли то страшное оханье и кряхтенье, коим сопровождается действие, на самом-то деле обслуживающий камеру оператор, который, верно, делает стойку на голове, пытаясь направить траекторию взгляда своего объектива мимо необузданного мешка, все норовящего попасть в кадр.

Основная проблема здесь, сомнений нет, — как подчинить человеческое тело кинокамере. Творение никоим образом не желает считаться с развитием медийно-коммуникационного общества. Необходимо разработать стратегию: как демонтировать тело и вновь собрать его по своему разумению — иного выхода нет. Если же вы на такое решиться не можете, то смиритесь с тем, что сей высокочувствительный организм ни на что иное не годен, кроме как спутывать благие начинания.

Ничего не поделаешь, положа руку на сердце, пришлось все же признать, что последняя констелляция, та самая финальная поза порнокино, всегда особенно сильно возбуждала его фантазию. Позже он услышал, что *феминизм*, это лидирующее на идеологическом фронте ФРГ движение, заново определившее условия

общения женщины и мужчины, полагает, что вышеназванная поза для женщины унизительна… в глазах феминисток, женщина падает здесь на колени, падает ниц, ликом к земле, отдавая свой беззащитный зад на произвол самцу, она клонится, поклоняется… отражает ли этот взгляд, вообще говоря, реальность? Ведь на самом деле она и не думает кланяться; повернувшись к самцу спиной, она если и поклоняется, так, верно, только свободе?

Когда наконец, почти на исходе ночи, он после долгих борений решался выключить телевизор, желчь поднималась до самого горла, начиналась депрессия. Он вновь принимался опустошать мини-бар, затем пускался в самобичевания. Упреки все были такого рода, что при нормальном стечении обстоятельств он и сам усомнился бы в их справедливости: в сущности, твердил он себе, только порноиндустрия и заманила его на Запад, по крайней мере составляет она львиную долю того, что иные доброжелательные журналисты, слегка проезжаясь на счет писателя Ц., именуют в своих статьях *эмиграцией*. Художественная свобода, которой он домогался, говорил он себе, — это свобода сидеть в гостиничном номере в ФРГ, пялиться в «Pay-TV»…

Об этих рефлексиях никто, конечно, ничего не знал. Они оставались в гостиничном номере, их место там, в этой маленькой четырехугольной каверне, почти наглухо закупоренной. Эта внутренняя полость, схожая с пространством внутри его черепа, место, где он временно остановился за тщательно запертой дверью, задвинутыми портьерами, при тусклом свете, заволоченном дымом множества сигарет. Сидит на стуле, не двигаясь, даже кашлять старается приглушенно, когда дым жжет горло. Вот какова, стало быть, его жизнь в Федеративной Республике: приехать на время в ФРГ, в Западный Берлин, включить телевизор, глядеть в жизнь через светящийся экран. И он приглушал громкость, чтобы повизгивание распалившихся женщин не так было слышно.

И лишь в буфете, среди веселого курлыканья постояльцев, с наслаждением предающихся церемонии завтрака, вспоминалось, что он забыл позвонить Гед-де. Он знал, что она ждет звонка, начинает волноваться, когда от него несколько дней подряд нет вестей. Хуже того, он забыл поздравить ее с днем рождения! Гедду расстроило уже то, что он неудачно назначил дату чтений, и получалось, что в день ее рождения вернется в Нюрнберг только поздно вечером. Он клятвен-

но заверил, что перенесет дату, — и забывал об этом до тех пор, пока не стало уже поздно что-то менять… наконец, пообещал позвонить из гостиницы в полночь, к началу ее дня рождения, в ноль часов ноль минут (и ей-богу, хотел это сделать!); но в полночь он еще и до отеля-то не дошел, а потом уже было не до того. Он проклинал все, что творится в его голове и отвлекает… и Гедда нередко чувствовала, что проклятие идет с ним рука об руку. Она допытывалась, донимала расспросами до тех пор, пока не вспыхивала отчаянная ссора, бессмысленная борьба за власть, неведомо чего ради. Он мог бы сознаться во всем, в любой подлости, в любом обмане, раскаяться же в истинных причинах своей забывчивости он не мог…

Да он и себе не смог бы признаться…

Теперь Ц. решил позвонить, хотя бы с вокзала, куда приехал на такси. Но сперва он обеспечил себя на долгий обратный путь напитками, побывал в трех разных киосках, на перронах и в вестибюле; на сравнительно маленьком боннском вокзале было не так много возможностей. Загрузиться полностью у одного киоска показалось ему немыслимым: в трех разных местах он купил по три банки пива и три пузырька

травяной настойки «Ундерберг». При этом все размышлял о причинах своей забывчивости… Сначала Гедда, наверное, не поверила бы, потом бы насторожилась, слегка поиздевалась бы — она отлично умела необидно над ним издеваться, он даже успокаивался, — а потом спросила бы, похохатывая: «Чего же ты сразу-то не сказал, что у тебя потребность наверстать упущенное…»

Не сказал потому, что это — не просто необходимость наверстать упущенное; к такому элементарному общему знаменателю дело не сводилось. Это что-то неясное, он то и дело терпел неудачу, пытаясь выразить это в словах. Он предпочел бы использовать слово *желание*… это страх, что иссякнет желание. Если оно угаснет, то кончится нечто почти равнозначное жизни…

Эту мысль он обдумывал в кафе, стоя у столика и попивая кофе со шнапсом… и прозевал поезд на Франкфурт. Ничего не оставалось, кроме как пойти прогуляться по Бонну… городок, даром что один из центральных пультов управления западным миром, выглядел скромно. Сразу за привокзальной площадью повеяло духом добротного старого центра; он шел по узеньким улочкам, вдоль великолепно отреставрированных буржуазных домов, по которым ни за что не

догадаешься, что когда-то страна эта лежала в развалинах… Ничуть не заметно, подумал Ц. Над улицами уже растянуты рождественские гирлянды; справа и слева — множество ресторанов, все как один, что называется, «благородные» и, несмотря на обеденное время, большей частью пустые; за окнами виднеются незанятые столы, покрытые белыми скатертями, да скучающие у буфетной стойки официанты в белом. Ц. свернул в узенький боковой переулок, там тоже лепились один к другому рестораны и не менее благородного вида дома; улучив момент, стремительно влил в глотку ундерберговский пузырек. Тут же почувствовал неудержимый позыв к рвоте, огляделся в поисках закоулка: отделаться от «ундерберга», — но такового не обнаружил. Он сглатывал и сглатывал до тех пор, пока бунтующий желудок не унялся и оттуда поднялось тепло, почти жар. После того опорожнил второй пузырек, лежавший в кармане куртки. Отметив, что по грубому скользкому булыжнику, которым был вымощен узенький переулок, стало трудно идти, он повернул обратно; прошел через ярмарочную площадь, на столике у дверей книжной лавки лежали горы дешевых покетбуков. Подошел поближе, купил четыре томика, цвета антрацита, из

полного собрания Вальтера Беньямина, пухлые зуркамповские покетбуки отдавались здесь за бесценок. Продавец перетянул томики крест-накрест красными резинками и протянул Ц. Пока он расплачивался, парень уже занялся следующим клиентом, но Ц. явственно увидел, что продавец от него отшатнулся: вероятно, пахнуло противным горьковато-сладким шнапсовым перегаром. С липким нёбом, на ватных ногах поплелся назад к вокзалу… он все чаще ощущал, что перестает выносить спиртное. Но неодолимая эта сухость, вязкость телесных соков, периодически накатывающая тревога подавлялись только выпивкой.

На привокзальной площади его взгляд упал на мусорные корзины рядом с опорами, державшими козырек перед входом: корзины, были доверху наполнены все теми же темно-зелеными ундербергoвскими пузырьками; сложенные аккуратными штабелями, они возвышались горкой над каждой корзиной; содержимое выпито, крышечки аккуратно закручены. Все ближайшие урны выглядели на один манер: вокзалы были главными перевалочными пунктами компании «Ундерберг». А перед входом слонялись бомжи, они с надеждой во все глаза глядели на Ц., когда он подходил к вокзалу. Два точно таких

пузырька, пустые, с аккуратно закрученными крышечками, лежали в кармане куртки (энное количество — в сумке, запертой в вокзальной камере хранения); водрузить их на вершину горы под алчущими взглядами бомжей Ц. не решился, для этого требовалось спокойствие, как для игры в микадо, а у него так сильно дрожали руки, что он рисковал обрушить пирамиду на глазах у бомжей, которые все таращились в его сторону, застыв на корточках, по-собачьи разинув рты и подрагивая языками.

Он сел в поезд и рассеянно, без всякой надежды вчитаться, полистал Беньямина; потом снова перевязал томики резинками и сложил в сумку; он то и дело забывал книги, купленные в дороге, неделями позже изумлялся, когда случайно находил их в дорожной сумке.

Вот они, эти книги, за которые он там, в ГДР, в лепешку готов был расшибиться — а теперь не читает. Вот приехал он из этого книжного коммунизма, из республики, которая постоянно похвалялась читательскими аппетитами своего народа, для него же книги, которых вечно недоставало, означали лишь фрустрацию и унижение. Приехав на Запад, он с самого первого дня покупал их как сумасшедший, никогда не

смог бы прочесть их все, лет-то оставшихся ему, не хватит на то, чтобы с толком прочесть горы книг, которые он нагромоздил вокруг; никто не понимал импульсивности, одержимости, с которой он покупал, доставал книги в издательствах, крал, добывал всеми мыслимыми способами; никто не понимал, хотя об истинных масштабах его алчности ни одна душа не ведала, даже Гедда, даже от нее он скрывал и прятал большую часть книг, которые притаскивал… оставлял в камере хранения, и привозил на такси только ночью, когда Гедда уже спала.

А потом выяснилось, что здесь, на Западе, книги утратили всякую ценность. Прошло время, прежде чем эта мысль утвердилась в его мозгу, и тем продолжительнее оказался вызванный ею шок. Книги ускользали у него из рук… а ведь он, как-никак, писатель, по крайней мере мнил себя таковым! Всегда, всю жизнь хотел быть писателем… производителем макулатуры! Дважды в год, под трескотню бранчливой рекламы, на перенасыщенный рынок вываливали видимо-невидимо новых книг, которым уже очень скоро придется желтеть и плесневеть в коробках для уцененного барахла у входов в опустевшие книжные лавки. А перед публикой разевают пасть пресловутые

новые медиа; человеческий разум тонет в неудержимом потоке ярких дрыгающихся картинок, слуховые каналы, мозговые и нервные клетки забиваются до предела восприятия имитацией музыки. И всякая свиль на мониторе, инсталляция из жестянок, рудиментарный посторонний шум — все выдается за последнее слово культуры, и люди покорно дрыгаются в такт. Да, он всегда хотел стать писателем, всю жизнь, и, если бы такой профессии не существовало, он непременно захотел бы ее придумать. С детских лет болел этой фикс-идеей, ставшей впоследствии шнапс-идеей, и вот жизнь пропала, все псу под хвост. Испоганил себе школьные годы с первых же лет, учился разным ремеслам, все побросал, чуть ли не до сорока лет проторчал в мерзком гадюшнике заштатного городка, на кухне у матери, все поджидая мига, когда сможет заявить: ну, вот я и писатель; но миг этот так и не настал. Тягался с этой горе-страной, рисковал оказаться в тюрьме или в исправительно-трудовом лагере, обижал людей, плевал в глаза друзьям и знакомым. Никакой ложью не брезговал, только бы выкроить время для писательства. Гипнотизировал свой член, колотил по нему поварешкой, чтобы тот сник, чтобы эрекция не мешала работать. Отка-

зался от всех интрижек, какими бы скудными и половинчатыми они ни были, всех бросил, всех, вместе взятых, а двух женщин — пока что — сделал несчастными (на какое-то время уж точно); обеих оставил из страха, что придется жертвовать временем, предназначенным для писательства; дочку свою бросил — она еще крошкой была, — хотя очень любил, и сейчас они почти незнакомы. Всю жизнь пустил под откос, наплевал на счастье…

И вот, приехав на Запад, слушал, не веря своим ушам, болтовню о еще остающейся за литературой «ранговой значимости». Она едва ли достойна упоминания. Слово *значимость* здесь вообще неуместно. Но в этой стране все продумано: для украшения шкафа-стенки можно купить муляжи из пластмассы, сформованные под книжные корешки; на корешках золотыми буквами значится: «Произведения Гете» или «Произведения Шиллера»…

Он сидел в поезде, мчался сквозь тусклый размытый декабрьский полдень, глухая ярость мешалась с ужасом, поминутно грозя разразиться рыданиями. Но он лет так двадцать-тридцать не плакал, и сейчас это тоже уже ни к чему. Нервными, почти бесконтрольными движениями

опрокинул в себя, один за другим, темно-зеленые пузырьки, потом перешел на пиво. Почувствовал, что начинает смердеть, поспешил в сортир, снова попробовал вызвать рвоту; опять не получилось. Вогнал в глотку эрегированный средний палец, давился, пока в глазах не потемнело; кроме лужицы коричневатой слизи, похожей с виду на разложившуюся кровь, пищевод ничего не выдал. Поплелся обратно в купе, думая по дороге: какой-то неизъяснимый коварный инстинкт смерти подвигнул его на отъезд. Какая-то тварь в душе, которую сам Фрейд не сумел бы точно истолковать. Какой-то безошибочный киллерский инстинкт, обращенный против себя…

Был и еще один мыслительный ход, как правило, непосредственно примыкавший к вышеназванному, и, если хорошо залить шары, он атаковал жестко и добивал окончательно. Там, в этой так называемой ГДР, он мог бы, на худой конец, бросить свою писанину — поздновато, конечно, но все-таки не безнадежно поздно ^ — и снова подыскал бы себе работу. Его бы взяли наверняка, в конце концов он был неплохим кочегаром, хоть и ненавидел котельные лютой ненавистью. Запад — для его тамошнего *народа,* для этого стада непуганых идиотов с их плотоядным желанием

попробовать йогурт «Лангнезе» и гондоны с банановым вкусом; на кой черт ему такой Запад. Но вот он явился сюда самолично и собственными глазами, плывущими в алкоголе, вперился в грядущее *пролетариата.* Грядущее пролетариата — это цифры по безработице, пусть даже нагло фальсифицированные. Здесь, на Западе, в прямоугольнике автоматизированно произведенного экрана перед тобой возникают огромные, клинически чистые производственные площади автомобильного завода. В сверкающем хромом цехе, скромно жужжащем, — один-единственный тип, облаченный в белый халат, с галстуком, в темных очках; он шныряет между электрошкафами и роботами, нажимает на кнопочки, следит за равномерностью подачи энергии и, возможно, раз в год меняет какой-нибудь чип; а нервный он такой потому, что уже тоже вписан в лист сокращения. Тем временем на конечной стадии производственного процесса из железной конструкции выпрыгивают, точно теннисные мячики, новехонькие кабриолеты. И происходит все это где-нибудь на Малайском архипелаге.

Рабочий — такая же снятая с производства модель, что и писатель, хотя бы это в них общее. Он долго сокрушался, что вынужден, по существу,

жить в двух разных ипостасях — и ни в одной по-настоящему — рабочего и писателя… теперь же обе полетели к черту. Ни у одной из них нет будущего, он сбился с пути… знать бы, сколько осталось до пенсии?

Сейчас и не подсчитать, он позабыл свой возраст. Но до пенсионного точно еще далеко — как протянуть это время? Да и положена ли ему в Федеративной Республике пенсия? Непременно надо бы отыскать какого-нибудь бывшего перебежчика и выяснить этот вопрос. Но как же он исхитрится собрать для пенсии все свои явно недостаточные, дырявые справки? Гедда, конечно, поможет, хотя и без особого энтузиазма относится к таким вещам. Один он вряд ли справится. Ц., чтобы заполнить западную налоговую декларацию, понадобился бы десятилетний курс психотерапии, что уж там говорить о справках, полученных порою в результате обмана…

Между прочим, если и дальше так жить и действовать, как до сих пор, то очень скоро Гедда и пальцем ради него не шевельнет.

Нужно попытаться мало-мальски протрезветь и позвонить ей из Франкфурта, где будет пересадка на нюрнбергский поезд. Позвонить из Бонна он, конечно, опять забыл. В черепе прояснится

только при том условии, если он перестанет жаловаться… скулить и купаться в жалости к себе. Может, я вовсе и не люблю Гедду, если постоянно, чуть ли не из принципа, забываю ей позвонить, подумал он. И все-таки постоянно говорю ей, что люблю… похоже, я вообще не знаю, как это делать — любить кого-нибудь. Но кто же знает… самый вопрос четко и ясно демонстрировал, что Ц. здесь всего лишь теоретик.

Приходя в себя, он всякий раз испытывал неприятный осадок от собственных жалоб; радовался, что сохранил их в тайне, никому ничего не сказал, даже подруге Гедде. Но это, конечно, имело свои последствия: ему казалось, что в глазах окружающих он выглядит нечутким, а то и вовсе бесчувственным человеком, чурбаном, этакой победительной натурой, — изловчился-таки, в обход всех сложностей, выбиться из «простых работяг» в писатели! — широкоплечим танком, за чьей лобовой панелью не скрывается ничего, кроме грубой самоуверенности. В сущности, такой взгляд наносил ему непоправимое оскорбление. Но он с этим не боролся, сам виноват… только когда оставался один (а в последнее время все чаще приходилось бывать в одиночестве), что-то на него вдруг находило, он беззвучно си-

дел на стуле, и реальность вокруг исчезала; он ждал трясучки, которая непременно начиналась и долго не унималась, внутри тончайшим, но небьющимся стеклом звенела неартикулируемая боль. И хотелось разбить, но он не разбивал…

В последнее время приходилось всегда быть начеку, чтобы не попадаться при таких приступах никому на глаза. Они одолевали его чаще всего в дороге: в поезде, на вокзале, или среди городской суеты, или когда он сидел перед публикой и пытался читать свои тексты; внезапно он замечал, что из текста на него что-то надвигается, порой из какого-нибудь незначительного придаточного: горло сжимало удушьем, он чувствовал, что не в силах произнести слово *любовь*, и молниеносно, не прерывая чтения, заменял его на *отношения* или *приятие*…

Конечно же, в западном обществе на любую твою проблему найдется компетентное учреждение, которое только и ждет, чтобы ты вверился ее попечению. Есть отдел социального обеспечения, есть «анонимные алкоголики», налоговая консультация, бордели и церкви, всевозможные ветви и ответвления психотерапии; наконец, для серьезных проблем — Всегерманский клуб автомобилистов. Всегда найдется куда пойти или

позвонить, и повсюду тебя, предварительно выяснив все детали, с благодарностью примут. Но о ком они, спрашивается, пекутся, все эти учреждения? Не возжелалось тебе посетить бордель, там отдрочат другого. Недосуг идти к аналитику — на кушетку ляжет еще кто-нибудь. Нет настроения исповедаться — найдется кому отпустить грехи.

Давать волю своим жалобам при таких обстоятельствах нелояльно, некорректно и неприлично — всего только и требуется, что не пропускать, будь любезен, походы в бордель, сеансы у аналитика и воскресные богослужения…

Кроме того, имелось еще одно, куда более веское основание держать язык за зубами, проглатывать жалобу и, уж во всяком случае, осуждать себя за нытье и жалость к себе. Он подозревал, что тут не обошлось без влияния *антифашистского* государства, в котором он вырос. В двадцатом веке нужно пережить Освенцим, чтобы тебе позволительно было жаловаться…

Последняя мысль пришла в голову, вероятно, уже после прибытия в нюрнбергское обиталище. Быстрыми шагами он ходил по комнатам, взад-вперед, двери открыты настежь; если одна захлопывалась, он открывал ее плечом. Пытался побороть растерянность, но понимал, что это

удастся только с помощью выпивки. Временами останавливался перед двумя неразобранными ящиками, вперившись в них глазами и пытаясь не думать о Гедде…

А может, оставить здесь эти проклятые книги — сколько денег на них ухлопано! — да и уехать без них? К тому же непонятно, как переправить их на Восток; все это еще нужно как-то организовать. Так, может, отказаться от них, забыть книги здесь? В последнее время в нем развилась антипатия к избытку книг, порой он даже испытывал к ним нечто сродни омерзению. Раньше было заветной мечтой — жить в мире, где можно свободно распоряжаться, любой существующей книгой… от этой мечты он, похоже, освободился.

Очевидно, что у этих мыслей больший срок давности… незадолго до истечения визы, когда оставались всего недели две, он нередко подумывал о том, чтобы попросту вернуться в ГДР. Прервать временную остановку до срока. Набить одну-две сумки вещами, которые непременно хотел увезти — скажем, так называемыми рукописями, целой горой бумаг и начатых тетрадок; глядишь, одна сумка уже и наполнилась, — и исчезнуть, ни с кем не простившись, уйти, как говорят, по-английски. Взять и уехать; хватятся

его, вероятно, только к праздникам, а то и к Новому году. О распродаже имущества — для этого дела он ощущал себя непригодным — хозяйка, живущая в том же доме, уж как-нибудь да позаботится. А нет, так позаботится мусоровозка. Расходы покроет издательство. Исчезнуть так же внезапно, как появился; минувший год — его год в ФРГ — мало-помалу преобразится в одно из тех нерезких воспоминаний, каких он много носит с собой: нерезких, слабо подсвеченных; лишь изредка вспыхнет, без всякой связи, яркая сцена, эти-то сцены и полагал он своим достоянием. Зачастую они связаны с тем, что он называет своим «желанием». Возможно, когда-нибудь весь этот год в ФРГ предстанет единственной вспышкой желания, одной-единственной нечаянной сценой желания, стилизованной и экзальтированной, без начала и конца. И временем, грозившим уничтожить это желание… на этом месте Ц. себя оборвал.

Ключ спокойно можно оставить в квартире: у Гедды есть запасной, еще один ключ удержала хозяйка. Положит на стол письмо о расторжении договора и уйдет. Прямо в предутреннюю мглу… и останется после него этакий призрак, хриплый невнятный призрак, не принесший Гедде ниче-

го, кроме разрушений. Но быть может, все еще как-нибудь залатается… Герхард, насколько ему известно, сказал, что будет ждать Гедду. Он подождет, сказал Герхард, пока этот треклятый год не кончится, а потом еще раз с ней объяснится.

Во Франкфурте он сперва купил на вокзале для Гедды бутылку шампанского (теперь она в его кухне на холодильнике), потом позвонил, чтобы поздравить ее с днем рождения. С полчаса было занято, он бросил звонить и помчался на нюрнбергский поезд, пропустить который было нельзя: он последний. Около часа ночи прибыл в Нюрнберг, рванул к ближайшей телефонной кабинке, наконец в трубке раздался голос Гедды.

— Поздравляю с днем рождения! — выпалил он, задыхаясь. — Прости меня, пожалуйста…

Она оборвала на полуслове:

— Мой день рождения сорок минут как кончился!

— Я знаю. Прости меня! Я звонил из Франкфурта, но все время было занято…

— Да, мы с Герхардом довольно долго проговорили.

Ц. прикинул, позволительно ли ему полюбопытствовать, чем объясняется столь долгая беседа с Герхардом. Но воздержался; причина

звонка была очевидна: Герхард никогда не забывал ее день рождения. Ц. сказал, что возьмет такси и все же заглянет. Ему нужно с ней поговорить, совесть мучит.

— Ты не мог бы перенести это на завтра, — сказала Гедда. — Вернее, на сегодняшний вечер. Я уже в постели.

Он все же взял такси и поехал на площадь Шиллера. В двух Геддиных окнах на втором этаже было темно. Но он знал, что она может быть во второй, маленькой комнате, в спальне, окна которой смотрели на обширные владения нюрнбергской тухеровской пивоварни, тянувшейся вдоль заднего фасада через весь квартал. И впрямь, на потолке вроде бы видна полоска света, просочившаяся сквозь дверную щель из той задней комнаты. Он нажал на кнопку звонка рядом с подъездом и приложил ухо к домофону… позвонил еще, ответа не последовало. Отступив на шаг назад, он увидел, что полоска света на потолке погасла. Несмотря ни на что, еще с четверть часа остервенело жал на звонок, хотя понимал, что это бессмысленно…

При низком атмосферном давлении кварталы от площади Шиллера до Кобергерплатц обволакивались навязчивым запахом солода,

подымавшимся с территории пивоварни. Тяжелый воздух, пропитанный горьковато-сладкими пивными ингредиентами, как будто заполнял улицы до высоты человеческого роста; в иные дни Гедда ворчала, говоря, что надо отсюда съезжать. Декабрь выдался тепловатым и дождливым, в такие ночи солодовый запах особенно интенсивно поглощал все прочие. За те двадцать минут, что он шел до своей квартиры, Ц. весь размок и протрезвел; дождь, капавший с невидимых небес, напоминал скорее сжижающийся дым; даже от мертвой травы в круглой клумбе на Кобергерплатц как будто подымался одуряющий дух пивоварни, он же сочился текучими нитями с голых деревьев вокруг площади, он же, казалось, окрасил в желто-коричневый свет шарообразные фонари, с которых беспрерывно стекали пенистые нитки бусин, похожих на пузырьки слюны. Круглая гравийная дорожка, напитавшись влагой, вздыхала под ногами, как песок в воде.

От Кобергерплатц, где начиналась Кобергерштрассе, до его дома оставалось еще минут пять ходьбы. На этом отрезке в десять домов он регулярно проходил мимо одного освещенного окна. Оно располагалось на третьем этаже, в своеобразном эркере, свет горел там порой до самого утра;

иногда он останавливался и глазел на это окно. Там жила женщина, примерно его возраста или Геддиного, пару раз приглашавшая его в гости. Она появлялась на всех его вечерах, проходивших в Нюрнберге и окрестностях, иногда вместе с Геддой; он не пытался вообразить, какого рода отношения их связывают, и Гедду о том не расспрашивал; впервые он встретил ее примерно два года назад в Регенсбурге, во время одной из непродолжительных поездок на Запад, еще до визы. А потом эта женщина — какая странная причуда — прислала ему в Лейпциг куртку из желтой кожи, из-за чего у них с Моной, его лейпцигской подругой, случился конфликт.

Он вошел в квартиру и наступил впотьмах на телефон, стоявший в коридоре на полу; раздался хруст, нога угодила в пластмассовые клавиши набора. Чертыхнувшись, поставил аппарат на кухонный стол, к счастью, телефон еще работал, если набирать осторожно. Огляделся, отыскивая глазами следы пребывания Гедды в квартире… сел за стол и стал названивать. После того как раз десять он нажал на повтор и подождал ответа, Гедда вдруг сняла трубку. Не успел он и слова вымолвить, как она отчеканила: пусть он оставит ее в покое. «Пожалуйста… — выдавил он, — я только

хотел спросить, когда мне завтра прийти». Она вообще не уверена, что хочет его видеть, сказала Гедда и положила трубку.

Взметнулась волна паники… как бы знакома ни была ему она и как бы ни была оправдана довольно безобидным Геддиным отказом — накатывала она всегда внезапно, и он всякий раз бывал против нее безоружен. Внутри нарастал смутный ком страха, мозг как будто парил сверху в пустоте, утратив с телом всякую связь… помогала только водка, он полез в холодильник, достал бутылку, налил полстакана и мелкими быстрыми глотками выпил до дна.

Понятно, что причина этой паники застарелая и поводом может стать все, что угодно; он не находил единой схемы. Гедде тоже бывали ведомы подобные состояния, но она умела их анализировать и защищалась куда лучше; к тому же причины ее состояний, как видно, легче распознавались. У Гедды имелся кое-какой опыт занятий психоанализом, она и ему рекомендовала заняться тем же. Он всегда отбивался от этой идеи, полагая, что в силах справиться сам…

— Я такой, какой есть, — говорил он. — Что еще совершенствовать?

— Умение обращаться со своим страхом, — от-

вечала она.

В самом ли деле верно то, что он сказал; в самом ли деле он тот, за кого себя принимает? С тех пор, как Гедда начала предпринимать попытки — почти всегда безуспешные — обсуждать с ним его страхи, они как будто и пришли в движение… иногда он приписывал вину за свою панику Гедде…

За этими размышлениями он выпил и второй, и третий стакан… когда паника пройдет, останутся только ярость и отчаяние. Он заварил кофе и, пока стеклянный пузырь кофеварки, тихонько позвякивая, наполнялся, налил еще стакан и сразу же еще…

Сумка ведь даже не распакована! Она стоит за дверью в прихожей; всего-то и нужно, что вскинуть ее на плечо — и поминай как звали! Зачем отсиживать здесь эти три недели?

Между шестью и семью утра из Нюрнберга пойдет поезд в Лейпциг, на который он еще с легкостью успевает.

Он бродил со стаканом по комнатам; когда загорался свет, обнажались участки сероватой пыли, устилавшей все вокруг: пол, книжные полки, стол, подоконники. В квартире как будто много лет не появлялась живая душа… так, стало быть,

он пребывал здесь только как призрак…

Он уселся на ящики, помеченные надписью *Холокост атр; Гулаг,* торопливо пригубил очередной стакан. На рабочем столе лежала раскрытая тетрадь; он подошел поближе, включил настольную лампу, надел лежавшие рядом очки для чтения с одной дужкой и прочел фрагмент, занимавший первую страницу. Задумывалось это, видимо, как некий дневник — он уже много раз начинал дневник, но быстро бросал или попросту забывал, — а возможно, это начало фиктивного дневника, об этом он тоже частенько подумывал; строки предваряла дата примерно пятилетней давности (тогда он еще находился в ГДР); что он хотел сказать этой фиктивной датой? Строчки накарябаны неразборчивым беглым почерком, убегающим почерком, — видно, что писал в подпитии.

Он прочел: «Я страдал от ощущения, что у меня места настоящего нет для писания. Пишущий в Европе бесприютен. Но возможно, за этим страданием скрывается лишь бегство от мысли, что он утратил свою значимость. Потерянное значение и резонанс…» Первые два слова перечеркнуты… видимо, написал и сразу разозлился. Сейчас же его пробрал от этих фраз такой страх, что он схва-

тил сумку и очертя голову ринулся из квартиры.

Он жил в таком мире и в такое время, когда страдающей половиной человечества были женщины, мужчинам страдать не полагалось… мужчинам подобало победоносно служить своим фюрерам и генсекам. То же самое и с желанием: жаждущей частью человечества были женщины… неспроста Вальтер фон дер Фогельвайде был в юбке, когда сидел на своем камне, заливаясь слезами. Выговоры и замечания застряли глубокой занозой, вытатуированные в душе, и душа эта при любом намеке на собственные страдания наполнялась стыдом и презрением… Гедду такие примитивные схемы возмущали. Она говорила:

— Ты предпочитаешь предаваться своим приступам паники, потому что не должен при этом думать — да и не можешь. А истинные свои чувства всерьез не воспринимаешь, потому что полагаешь, будто обязан их стыдиться…

Он снова поднялся в квартиру… свет забыл выключить. Со странным чувством расставания (в него сам не веря) еще раз прошел по комнатам, потом вновь уселся на заветные ящики, думая, что предпринять. Катастрофа под пятой точкой, видно, вселяла нечто сродни уверенности. Выпил еще стакан водки, напоследок набрал Геддин

номер. Никто не снял трубку… он вскинул сумку на плечо и отправился в сторону Фридрих-Эберт-платц, где круглосуточно можно поймать такси. Поехал на вокзал, купил билет до Лейпцига.

Заснул он еще до отправления поезда, очнулся лишь спустя пару часов. Очевидно, они приближались к границе, выйти из поезда было уже невозможно. Состав рывками продвигался в гору, по Франконскому лесу, или Фихтельгебирге, справа и слева от рельсовой колеи тянулся ночной иссиня-черный снежный ландшафт, стоявшие сплошной стеной хвойные деревья, когда проезжал поезд, роняли с сучьев тяжелые снежные лепехи. Временами локомотив испускал рыдающий сигнал сирены — словно предостерегал кого-то, какой-то сторожевой пост там впереди. От одного из таких завываний он резким толчком пробудился… хмель как рукой сняло, холод пробирал до костей; по вагону, из которого все как будто сбежали, мело сквозняком. Окна во всех купе были открыты, сибирскими флагами реяли грязно-бурые занавески; Ц. прошел по вагону, позакрывал все окна и двери, но теплее не стало. Он вдруг ощутил уже знакомую невыразимую тоску по Гедде… Почему он не остался в Нюрнберге? Что творит с ним алкоголь? С ума он,

что ли, сошел — уехал от Гедды… и не похож ли этот вопрос на слова Моны, когда она перед его отъездом из Лейпцига заявила, что он, кажется, спятил. Граница то ли в Пробстцелла, то ли в Гутенфюрсте, он никогда не мог запомнить. Осталось немного, потом по вагонам покатят телегу с пивом и шнапсом…

На границе он сидел в купе, без сна, смятенный, солнце уже взошло; пейзаж за окном сделался плоским и голым. Солнце, оно светит не для меня, подумал он, это ясно как апельсин…

Блеснуло воспоминание, как они с Геддой впервые встретились в конце ноября 1985 года, он тогда еще и трех недель не пробыл на Западе. Он возвращался в Ханау из Байрейта, встретиться условились на вокзале в Нюрнберге, где он ненадолго прервет свой путь. Сперва пошли в ресторан, потом к Гедде домой. В тот же первый вечер он познакомился и с Геддиным другом. Герхард лежал, развалясь, на диване в гостиной и, не вставая, протянул Ц. руку. Рядом стояла выпитая на треть бутылка вина… «Он пьет, потому что я с вами встречалась!» — шепнула в какой-то момент Гедда. Герхард был молчалив, лежа на диване, он с регулярными интервалами отхлебывал вино: прикладывался, минуя стакан, прямо

к горлышку. Предложил Ц. присоединиться. Очевидно, он слушал музыку, патетически гремела Вторая симфония Малера; при появлении Ц. нажал на «стоп». Гедда, веселая и дружелюбная (Ц. даже показалось — счастливая), сновала между двумя молчащими мужчинами; проходя мимо Герхарда, погладила его по плечу, а когда принесла Ц. бокал вина, то коснулась мимоходом, как бы невзначай, его руки.

— Еды, к сожалению, почти нет, за исключением, как это ни глупо, селедки. — сказала она. — Может, сделать на скорую руку салат?

— О! — раздался возглас с дивана. — Селедочный салат был бы очень кстати!

— Тебе еще предстоит убедиться, — сказал Герхард, когда Гедда вышла на кухню; на «ты» он перешел без предупреждений. — Она делает отменный селедочный салат.

Ц. стало неуютно, когда они с Герхадом остались вдвоем, да и тому стоило немалого труда сохранять свою молчаливую невозмутимость; интервалы между глотками становились все короче; когда Герхард встал, чтобы сходить в туалет, Ц. увидел рослого мужчину, помоложе себя, в джинсах и белых шерстяных носках, без тапок. Он был бородат, и его ясные, но печальные глаза за

круглыми стеклами очков, казалось, с некоторым высокомерием смотрели мимо II. Оставшись на пару минут в одиночестве, Ц. залпом выпил бокал и тут же налил второй, каковой тоже немедленно опорожнил, оставив лишь несколько капель на донышке. Когда селедочный салат оказался на столе, он уже пил четвертый; поезд он упустил, час отправления следующего, последнего в сторону Франкфурта, угрожающе приближался. Тут ему пришлось попросту забыть про этот поезд; пока Гедда говорила о литературе, о своем пристрастии к Петеру Вайсу, с которым незадолго до его смерти успела встретиться, он думал совсем о другом. Быть может, из-за вина он чувствовал, как поднимается в нем мятеж, протест против поезда, ждущего на вокзале, и одновременно против того, что придется уйти из этого дома, где гораздо приятнее, чем в его временной, неубранной, грязной, нетопленой ханауской конуре, в которую только войдешь — тут же споткнешься о пустые бутылки и оседающие кипы газет, где прежде, чем куда-нибудь примоститься, нужно убрать со стульев книги и грязные тарелки, где его постель — беспорядочный ком простыней и одеял, съехавших сикось-накось, стянувшихся в плотный узел, изгаженных красным вином и

прочими непонятного происхождения пятнами так, что кожу саднит… он опять подумал: «У этих — все, а у меня — ничего… сдается мне, пора менять порядки».

Через какое-то время Герхард, жуя селедку, подал голос с дивана:

— Зачем ему ехать в этот дурацкий Ханау, пусть здесь переночует. Или закажи ему гостиницу.

Гедда взяла телефонную книгу, позвонила в какой-то отель и заказала комнату на ночь; все сразу уладилось, Ц. поразило, как у них на Западе со всем этим просто; он снова подумал: «Им — все, мне — ничего!» — Гедда толковала о четырехтомном издании записных книжек Петера Вайса и направилась в поисках цитаты в свой маленький кабинет, чтобы изъять книгу; Ц. последовал за ней, помочь в поисках. Гедда стояла перед высокими стеллажами, тщетно блуждая взглядом по плотно сомкнутым корешкам; Ц. стоял рядом, она обернулась и поглядела растерянно… «Не могу найти», — сказала она. «Не страшно», — сказал Ц.; голос прозвучал глухо и нечетко, звуки невнятным мычанием выдавились сквозь стиснутые зубы. На секунду у него потемнело в глазах, он рванул ее к себе, немного не рассчитав силы, обхватил, поцеловал в губы, правой рукой при-

держивая затылок, чтобы не увернулась. Потом отпустил, она глядела на него в упор; непонятно, изумлена ли, чуть приоткрытый рот не улыбается, но глаза вроде бы смеются. Он вновь притянул ее к себе, чуть менее порывисто, стал целовать, а руки его почти сами собой летали по телу Гедды, в бешеной спешке, словно лишь доли секунды отпущены были, чтобы прикоснуться мельком к каждому, самому сокровенному месту. Он видел, что она закрывает глаза, чувствовал, что отвечает на поцелуй; граничащее с безумием счастье вспыхнуло в теле, в один миг затопило все до мельчайших фибр. Он знал, что это мгновение уникально, неповторимо, апогей всей его жизни. Крепко держа Гедду, он пытался ее раздевать, при этом захват, который было не расцепить, очень мешал. Гедда пришла на помощь, он не понимал, с себя ли она снимает одежду или с него; когда она осталась голой, он стянул с себя оставшиеся тряпки, досадливо и торопливо, как кожуру с отварной картофелины, и оттеснил ее на кушетку, или это была ее кровать, приставленная к стене…

Он заскользил по ее телу, и ему показалось, будто он превращается в мифическое чудище или какую-то допотопную ящерицу, состоящую

из вещества удивительно мягкой, почти текучей, а то и вовсе нематериальной консистенции, — вещества, одаренного тем не менее необозримым сплетением нервов, единственный мимолетный смысл которых в том, чтобы отдаться, и вещество это сразу, точно под натиском жаркой бури, сплавилось с каждым сантиметром Геддиной кожи. Гедда тихо вскрикнула, словно страшась, что он вдруг загорится…

— Ты родишь, — прошепелявил он; солнечные пятна на сетчатке лопнули и сгорели.

Гедда открыла глаза, она улыбалась, на ее ресницах повисли слезы…

— Что ты сказал? — рассеянно спросила она.

Боковым зрением Ц. увидел, что Герхард стоит в дверях и вроде бы хочет что-то сказать; возможно, Геддин вопрос предназначался ему. Герхард закрыл рот и, бережно и неслышно притворив за собой дверь, удалился.

Когда они, держась за руки, с тягостным чувством вернулись в гостиную, Герхарда уже не было.

— Наверное, он пошел в гостиницу, — сказала Гедда. — Видишь, забрал бумажку, на которой я записала для тебя адрес.

Гедда позвонила в гостиницу и, когда дежурная

сняла трубку, попросила позвать господина Раста… Раст — фамилия Герхарда.

— Господин Раст в компьютере не значится, — ответили в трубке.

— Ага. А можно тогда попросить господина Ц., он должен был уже добраться.

— Да, — сказала дежурная. — Господин Ц. в компьютере значится, и он уже прибыл. Только поговорить с ним нельзя, он вышел.

На следующее утро Герхард позвонил и спросил, сколько ему еще оставаться в гостинице. Ц., самозабвенно целуя Геддин затылок, слышал, как из трубки доносится слегка раздраженный голос.

— Три дня… неделю… — ответила Гедда.

— Тогда пусть он подыщет себе что-нибудь получше, а то это не гостиница, а сарай какой-то… Кроме того, — сказал он, — не забывай, что скоро восьмое декабря, твой день рождения. В этот день я хочу быть с тобой дома…

Дни рождения, по-видимому, были единственными счастливыми днями Геддиного детства, и забывать об этом не следовало. В первые годы ее жизни были еще так называемые именины, отмечавшиеся по русскому обычаю и связанные с днем, когда ее крестили; и только потом семья перешла на немецкие ритуалы.

Гедда родилась в 1945 году в лагере под Нюрнбергом, среди наспех собранных вместе восточных европейцев, смытых волной немецкого отступления и покамест выброшенных на отмель в окраинные районы между Фюртом и Нюрнбергом. Здесь находились выходцы из стран, еще недавно захваченных немцами: Югославии, Румынии, Болгарии, Венгрии, особенно много было здесь русских и украинцев. Каждому было что скрывать: какое-нибудь крупное воровство или мелкое душегубство, какое-нибудь предательство или жену да детей, которых оставил и пытался теперь забыть; а кое-кому, вероятно, и сотрудничество с нацистами. И вот, став бездомными псами, все они чаяли, что отсюда, из американской зоны Германии, удастся сделать прыжок на Запад, перемахнув через океан в Америку.

Про годы, проведенные в этом лагере — бывшем учебно-подготовительном лагере для элитных подразделений СС в Нюрнбергском регионе; первое время после окончания войны он был обнесен забором и охранялся, — Гедда кое-что рассказывала; когда Ц., своего рода посвященное лицо, в свою очередь, начинали расспрашивать, то первым делом обычно задавался вопрос: «Они же там все были, поди, сплошные коллабора-

ционисты?» Вопрос этот приводил Ц. в ярость: западным немцам, с их беспощадной манией классифицировать людей, было просто-напросто не представить, что творилось зимой сорок четвертого года в русских степях под завывание «катюш», чьи снаряды не считаются с тем, что заодно с бегущими немцами они могут разнести в клочья и нескольких отставших от части украинских солдат. Болезненная скудость воображения не позволяла западным немцам допустить, что после многонедельных блужданий ночами при минус тридцати, когда нет крыши над головой, а под каждым кустом схоронились люди, готовые убивать за ватник и пару обуви, уже совершенно безразлично, к каким войскам примкнуть. Безразлично, с кем уходить — с немцами, русскими или партизанами, коли блеснула надежда на кусок хлеба, которого ты не видел неделями. Немцы считали, что, выясняя партийную принадлежность человеческого мусора, который они прогнали сквозь строй через всю Европу, они наводят порядок в перетасованной ими истории. Господствующей расе немецкого экономического чуда было никак не справиться без собственных недочеловеков.

Однажды Гедда рассказала Ц., что ее зачали,

вероятно, совсем неподалеку от него: в Лейпциге. Когда потом, много лет спустя, в начале восьмидесятых, она опубликовала первую книгу, издательство посоветовало ей взять псевдоним, поскольку для немецких читателей ее русская фамилия почти непроизносима. Она выбрала псевдоним с максимально немецким звучанием: Hedda Rast. Взяла, стало быть, фамилию своего друга Герхарда, хотя женаты они не были. А имя — реминисценция трудностей, которые доставляло ей в детстве немецкое придыхательное «h». Первые годы своей жизни она говорила по-русски, разговорному немецкому научилась практически только в школе; ей с трудом удавалось избегать горлового твердого «х» и не превращать немецкое «h» в русское «г», за это ее бранили, над ней насмехались. Ц. разозлился было из-за псевдонима, заявив, что она тем самым отказалась от своей идентичности.

— Нашу русскую идентичность, — откликнулась Гедда, — если ты ее имеешь в виду, нам после лагеря всегда приходилось скрывать.

Главной темой всех толков и пересудов в таком лагере была *Америка.* Всем хотелось попасть в Америку, и, быть может, каким-нибудь счастливым единицам это и удалось. Американская

виза — так называлась греза, которой все они бредили. Путешествие через океан на корабле, разрешение на въезд, разрешение на пребывание! Кто попадал в такой лагерь, готов был ради визы буквально на все, готов был продать что угодно: убеждения, веру и честь, жену и детей. Если несовершеннолетние дочки уходят гулять с солдатиками Джи Ай, то это всем только на руку.

Американские власти, если до них вообще удавалось добраться, каждое слово вертели, как сомнительную монету, а чаще и вовсе пропускали мимо ушей поток умоляющей русской и сербской речи. Сначала они спрашивали: «Ты нацi?» Потом спрашивали: «Ты коммунист?» Поди знай, кем надо быть перед этими американскими майорами. А еще: «Что ты знаешь про русскую атомную бомбу? Nix? No?» Указывали на дверь: «Go back! Go down! Обратно лагерь…»

Возвращаясь обратно в лагерь, они снова впадали в свой полусон, в свою летаргию. Это типично для человека без визы — беспрестанно, денно и нощно, наяву и во сне спать и грезить, самому того не замечая. Они и ночью грезили наяву о том корабле, что их заберет, и днем тоже спали, и во сне им являлся призрак того корабля, раздавался протяжный вой корабельной сирены, и

вздымала свой факел гигантская статуя Свободы. Они поминутно были на грани пробуждения, однако не пробуждались, не могли пробудиться из своего полусна, уже и не хотели пробуждаться из своего глубокого сна — иначе им пришлось бы понять, что корабля-то и нет. Так они и пребывали в своем временном пристанище, дремали, сидя перед своими домишками и лагерными бараками; ножки стола врыты в песок, на столе — шкалик водки, за который можно держаться, стул качается, будто корабль, плывущий по океану. Из одной временности дремали навстречу следующей — какому-нибудь дому призрения, богадельне или погосту…

Между тем их дочери, едва достигнув тринадцати-четырнадцати, забывали русский. Понахватавшись американских словечек, они набивали полные рты жвачки: это вроде бы полезно для звучания всемирного языка. Густо лепили на губы помаду, зажимали под мышкой сумочку и на высоких шпильках, со жвачкой во рту и сигаретой в зубах, ковыляли по переулкам, где стояли американцы. Разучившись говорить по-русски и по-сербски, издавали искусственно хриплыми голосами английские звуки, сленг штата Теннесси, широкий, как раздавленная жвачка, или

кой-какие гарлемские words, такие скверные, что девочки покраснели бы до ушей, если б поняли, что они значат. Всякой хотелось выйти за славного американского парня, но и по этой части они безнадежно отставали от немецких фройляйн, у которых юбки хоть тоже коротенькие, да не кургузые и смётаны не так жалко и неумело, что швы грозят разойтись при каждом движении. Славянские крестьянские ножки совсем не годились для лодочек, с опухшими, то-и дело подворачивающимися лодыжками девочки с трудом шкандыбали по булыжной мостовой; этакая незадавшаяся павана, вызывавшая смех, когда вечер окунался в смягчающие тени, когда жара над развалинами, уступавшими место все новым и новым домам, окрашивалась в синеву. Земли под ногами они не чувствовали… а когда возвращались ночами в лагерь, их примечали мужчины, которые, не стерпев барачного смрада, вылезли на воздух, чтобы посидеть и выпить. Когда усталые девочки неверными шагами проходили мимо, мужчины бранили их шлюхами. А если тебя однажды признали шлюхой, то уж понятно, что мужики будут тянуть к тебе руки. И отныне они постоянно спасались от своих отцов, братьев, дядьев и друзей семьи, которых

только одно и вырывало из сонного помрачения: жажда хватать дочерей своих, шлюх. В городах о лагерях пошла дурная молва: подтверждалось, что те, кто пришел с Востока, — неполноценные, и войну-то они выиграли лишь численным превосходством.

Пожалуй, единственный хороший день в году для девочки, которая стала потом зваться Геддой, был день рождения или праздновавшиеся в русских семьях именины. «В этот день я была принцессой», — призналась она однажды. Немного имелось средств, чтобы украсить девочке этот день, но все они пускались в ход по русскому обычаю, без тревог о том, что завтра положишь зубы на полку. Обитатели бараков сходились вместе, и девочка была средоточием праздника. Всяк приносил ей свое скромное подношение, и пелись песни, полные страсти, и в тех песнопениях вновь прорывалась русская гордость; пропащие вновь отвоевывали свое пространство, и было оно в их песнях, возносившихся к небу; там пелось о бескрайних степях, по которым тянет свои бесконечные сияющие излучины Волга; иным пространством, кроме бесконечного простора их песен, они отродясь не владели. Поистине все приходили, чтобы отпраздновать день

ее рождения; день, когда девочка явилась в мир, всем давал повод повеселиться и напиться — уже не от горечи, а на радостях. Наступала ночь, а они все пили и пели песни, а девочка между тем лежала в постели, и в груди у нее росло совсем незнакомое чувство счастья и защищенности. Немецкие дни рождения, легко забывавшиеся, были этому не равноценны и служили скорее воспитанию в детях послушных потребителей. Ц. привык относиться к ним очень легко, а то и небрежно, даже дни рождения матери и дочери систематически забывал. Довольно скоро он почувствовал, что Гедде сложно с этим смириться, как бы ни пыталась она это скрыть. Год назад, когда их знакомство исчислялось всего неделями, он однажды не отменил чтений, пришедшихся на Геддин день рождения, хотя она звала его в Нюрнберг. А потом даже забыл позвонить в тот день. Позже сделал вид, будто ему неприятно было бы праздновать эту дату вместе с ее другом Герхардом. Гедда ответила, что Герхард огорчился, когда Ц. не пришел; он заинтересовался его творчеством и с радостью ждал встречи. Ц. чувствовал, что эту-то непосредственность — которую считал сугубо западным феноменом — ему как раз и трудно принять. Ему чудилась в

ней свобода счастливых и расторопных, щедро и беззаботно распоряжающихся всем, по чему он томится, курясь кратером алчности… они с легкостью распоряжались любовью, телесной близостью, сексуальным желанием, наличие этих потребностей для них само собой разумеется, думал Ц., на утолении желаний они настаивают как на своем совершенно естественном праве. Оно для них мало чем отличается от потребности хлебнуть холодного лимонаду жарким летним вечерком. При всяком столкновении с проявлениями подобной самоочевидности Ц. захлестывало завистью, становилось душно, дыхание спирало от злобы и неприязни; он никогда бы не подумал, что способен на столь низменные эмоции. Позже это чувство стало буквально маниакальным, вызывалось простейшей мыслительной связкой, а вскоре — почти любой мыслью, которую он в оцепенении своем обдумывал… бывали времена, когда он боялся даже вспоминать о Гедде. Заползал внутрь себя, считал себя самой уродливой тварью на свете… чувствовал, что может убить себя этой ненавистью, если как-то целенаправленно не озаботится самосохранением.

В прошлом году дело дошло до того, что Гедда рассталась со своим другом Герхардом. Весной

Герхард на два месяца поехал в Папуа — Новую Гвинею; он был то ли этнологом, то ли антропологом (Ц. в точности не знал) и должен был чем-то заниматься в тропиках по заказу ЮНЕСКО. В его отсутствие Ц. жил у Гедды в Нюрнберге; он въехал сразу же, дня через два-три после Герхардова отъезда, хватило одной осторожной Геддиной реплики: она теперь одна и он спокойно может заглядывать к ней почаще. Он приехал на ближайшем же поезде и не двинулся с места, пока два месяца не истекли. Ц. всегда казалось, что Герхард все знает, что Герхарду ясно, что происходит в его отсутствие в нюрнбергской квартире, кстати ему и принадлежавшей. Звонил он все реже, и когда Ц. оказывался рядом, у него складывалось ощущение, что беседы становятся все короче и односложнее. После возвращения в Ханау Ц. пришел к мысли, что все два месяца его почти беспрерывно терзала больная совесть; он казался себе разрушителем, чуть ли не душегубом, испугался вдруг за жизнь Герхарда. Вдобавок стал чувствовать себя еще и паразитом: внедрился в нелегко заработанную, трудом оплаченную чужую жизнь и бесстыдно пользуется нажитым. И все это только благодаря незаслуженной привилегии, благодаря какому-то совершенно

сомнительному «таланту», который людям угодно в нем усматривать, да только уж больно этот талант смахивает на самонадеянность, за фасадом которой у тебя все меньше шансов доказать истинность того, за кого себя выдаешь. Он все меньше способен оставаться тем героем, которого разыгрывает на литературных подмостках… а может, он-то как раз никого и не разыгрывает? Может, дело в самих подмостках? Разница лишь в градации, в абстрактных оттенках. По ночам он сидел на Геддиной кухне, изнемогая от гадливости к себе. В спальню к Гедде пойти не решался, хотя знал, что она тоже не может заснуть, — ее страшит и мучит необъяснимый кромешный мрак, царящий там, на кухне, хотя он зажег все лампы. На душе так погано, как не бывало даже после самых скверных обманов и надувательств; хотелось просто тихо сидеть и ждать, пока не подохнешь. Такому трусу, как он, положено сдохнуть именно так: просто ждать, пока не прервется дыхание, пока не сорвутся вниз мысли; просто положить конец биению сердца. Такому шарлатану, как он, на роду написано подобное самоубийство: подождать, пока смерть не разместится внутри, оказавшись твоим истинным *Я*.

Днем он любил Гедду, любил почти без роздыху,

до изнеможения, до вытеснения всех подлинных своих чувств. В первые недели он сближался с ней с таким вожделением и безмерностью, что она пугалась; в считанные дни похудел на несколько килограммов, еще немного — и безудержные соития начали доставлять физическую боль, он чувствовал себя разбитым и истощенным, чуть ли не каждый участок кожи был раздражен и сверхчувствителен; реальный мир в голове опрокинулся, он будто приподнялся куда-то, где все сдвинуто, смещено, шатко и просвечивает, где взаимосвязи неправдоподобны, произвольны и случайны. Утратилось всякое чувство времени, он не знал, когда заканчивался один день и начинался другой; он спал теперь почти всегда днем, остальное время лежал на диване с бутылкой вина, попивая из горлышка, как подглядел однажды у Герхарда. Гедда начала было сопротивляться бешенству его вожделения, но вскоре поняла, что он повинуется некой необходимости, она смутно догадывалась, что он ведет сексуальную войну со своим прошлым, что в этом сражении на карту поставлено его выживание. Она рассчитывала на естественную усталость, но не могла предугадать того, что усталость эта станет тотальной, сведя желание к нулю, от чего он уже не сможет

оправиться. Она не понимала, что спал он с ней, в сущности, для того, чтобы себя оскопить. Однажды, он лежал под ней, она сидела верхом, он сказал в своей похоти непотребное: «Затрахай меня до смерти!» Она не догадывалась (да он и сам не знал), что слова эти имеют для него глубинное, почти дьявольское значение, какого он в своем угаре вовсе не вкладывал в них.

Вечером накануне возвращения Герхарда он отбыл в Ханау. Ц. был уверен, что Гедда испытывает облегчение оттого, что он наконец уезжает, но прощальное объятие разбило эту уверенность. На дне ее взгляда лежало нечто такое, над чем он потом долго размышлял. Во взгляде была любовь, но, пожалуй, скорее сестринская… он не умел истолковывать взгляды. Еще, конечно, в них сквозило сочувствие, но глубоко, на дне — поиск равного по судьбе. Пару секунд они стояли рядом, взгляды их пересеклись — то были глаза товарищей по судьбе, которых невероятный случай свел вместе.

Уже очень скоро Гедда рассталась с Герхардом (не предупредив Ц. заранее); Герхард тем не менее подыскал ей небольшую квартирку на площади Шиллера, после чего она съехала. О том, как происходило их расставание, Ц. мог только

гадать, Гедда о подробностях умолчала. Увидев ее снова лишь три-четыре недели спустя, он подумал, что во взгляде ее по-прежнему таится что-то отчаянное, если не безумное. Однажды, когда она еще жила у Герхарда, Ц. собрался ей позвонить, и тот подошел к телефону: Ц. содрогнулся, из трубки ударило ледяной ненавистью. А чего он, собственно, ожидал?

Теперь Ц. попал в положение цугцванга; хотя Гедда не обронила об этом ни слова, он ощущал, что его призывают прекратить отношения с лейпцигской Моной. Гедда давно уже избегала этой темы. Он, разумеется, тоже ее избегал, но втайне терзался. Порой запретная тема все же всплывала, и Гедда давала понять, что считает неприемлемой его методу. Его манеру отмалчиваться и просто бездействовать, ускользать, а Мону — между ними, в конце концов, когда-то была любовь! — держать в полном неведении… Просто трусливо раствориться в воздухе! Ц. отвечал, что у Моны в Лейпциге, кажется, остались кое-какие черновики, все равно придется за ними съездить. Тогда-то он и уведомит Мону о расставании.

— Изящно излагаешь, — сказала Гедда.

— Конечно, я заранее скажу, — поправился

он. — Какой-нибудь случай представится, по телефону или письмом. Но сперва нужно выяснить, когда у нее начнется в Галле курс психотерапии, он займет месяц или два. Он все время откладывается.

— Стационарный курс? — спросила Гедда.

— Да. В это время с ней будет не связаться. А я хочу поговорить с ней до того… надеюсь, она еще не в Галле.

— Так ты что же, даже не знаешь?

— Нет, — сказал Ц.; он телом чувствовал критические взгляды Гедды.

— Это тоже трусость, — заключила она. — Дать ей отставку и отослать к психотерапевту. Тебе не кажется, что тем самым ты уходишь от всякой ответственности?

Между тем он выяснил, когда Мона должна находиться в лечебнице. Возможно, сейчас она уже в Лейпциге… последний раз они говорили по телефону в октябре. Телефона у Моны не было, она звонила с почтамта — что было весьма утомительно, приходилось подолгу ждать — или из квартиры каких-то друзей. Она сказала, что в начале декабря предполагает вернуться из Галле, но может и задержаться на неделю-другую… Ц. не помнил точно, о чем они еще говорили…

А что, если поехать к Моне прямо сейчас и объясниться. От этой мысли его кинуло в пот.

Что он ей скажет… Возможно, я тут в последний раз. Остаюсь на Западе. У меня там другая…

Ты знаешь ее по имени. Это та самая Гедда Раст, помнишь, ты еще всегда меня к ней ревновала…

Может, сказать так: я люблю Гедду Раст… ну да, именно ее, ту русскую писательницу, вы иногда говорили по телефону. Так уж вышло. Мы искали друг друга и нашли, я не в силах с ней расстаться…

Он сидел в привокзальном кафе и силился совладать со страхом, крепко вцепляясь в пивную кружку и вытирая пот. В Лейпциг он прибыл ранним вечером, он с тех самых пор сидел в кафе, не зная, на что решиться. Поехать к матери (разве не это, собственно, и предполагалось?) или в западный район Лейпцига к Моне? Еще можно к Марте, жене Г., эта наверняка обрадуется. Он представил Марту, как она сияющими глазами поглядит на него сквозь толстые стекла, снимет очки и протрет стеклышки, чтобы получше его разглядеть. Мысль о Марте подействовала успокоительно.

Марта и ее муж Г. поддерживали с Моной дружеские отношения; возможно, если бы он сперва

поговорил о своих затруднениях с ними, что-то для него прояснилось бы? С Мартой уж точно он смог бы посоветоваться, Марта всегда на его стороне.

А Моне, стало быть, ничего пока не говорить? Сказать, что он вскоре подаст на продление визы, а после снова объявится… пожалуйста, наберись терпения! Развернуться бы сейчас да поехать обратно в Нюрнберг… Гедда, в конце концов, даже не знает, что он уехал!

Страшно вообразить, как он сейчас явится к Моне и скажет, что между ними все кончено. Вот уже несколько месяцев, как все кончено, собственно, весь этот год, она просто не знала. Неужели и вправду не знала, неужели он ни разу даже не намекнул? — Что будет, если так рубануть сплеча? Крики? Слезы? Станет швыряться в него предметами? Это был бы еще самый мягкий вариант! Она сломается, вот что скорее всего, она сломается, его появление равносильно покушению на убийство! Он уже в трамвае, он уже на пути к этому убийству…

Рванувшись к дверям, он выскочил из трамвая, не доехав несколько остановок. Моросил тепловатый дождик, вернее сказать, грязная затхлая жижа, туманом и чадом связанная в какую-то

мглистую размазню. Он стоял у центрального стадиона, напротив был НИФ, прославленный гэдээровский Институт физкультуры; мощные корпуса еле проглядывали в волглой сумеречи. По скоростной трассе рядом с трамвайными рельсами мчались машины с уже включенными фарами, тучами грязной мороси проносились они мимо. Прислонясь к железным перилам, ограждающим остановку от улицы, Ц. прикончил бутылку шнапса, купленную на вокзале. Таким пьяным к Марте нельзя. Значит, придется к Моне… и там принять решение…

На следующем трамвае он случайно проехал свою остановку, и пришлось топать назад по Георг-Шварцштрассе. Он прошел мимо дома, где жили Марта и Г.; света за окнами не было, а город в полутьме: без света в квартире было бы не обойтись. Поднялся по Уландштрассе, параллельной той улице, где они жили с Моной. Примерно на середине Уландштрассе была небольшая площадь, от нее налево отходил переулок, выводивший на Шпитташтрассе, прямо к дому под номером девятнадцать, где они жили. Монины окна на четвертом этаже смотрели как раз на этот маленький переулок и площадь, обрамленную деревцами, которым в теплое время года даже

случалось зазеленеть.

У Моны наверху тоже нет света… еще не пришла С работы. Или пока не вернулась из Галле. Он отворил темно-зеленые деревянные ворота и вошел во дворик, такой крохотный, что мусорные контейнеры загромождали почти весь пятачок. Открыл деревянную дверь, тоже темно-зеленую, она плохо закрывалась и, как всегда, гадко и вымученно проскрежетала по искрошенным каменным плитам. Он стоял перед почтовыми ящиками: его фамилия по-прежнему значилась — рядом с Мониной — на буром проржавевшем ящике, последнем в ряду справа. Сквозь дырочки что-то белело… Вдруг в ящике почта, адресованная ему? Он поднялся на четвертый этаж, деревянные ступени скрипели; до дверей квартиры, как всегда, добрался с одышкой. И здесь все еще значилось его имя, наспех нацарапанная его рукой бумажка держалась на одной кнопке; Мона всегда называла бумажку неряшливой. Он прижал ухо к двери, прислушался: из квартиры не доносилось ни звука. Внезапно он спохватился: а есть ли у него ключ от этой двери… он уж не помнил, взял ли ключ, дала ли Мона ему ключ, когда в ноябре прошлого года он уезжал. А может, вручила ему ключ в один из редких его

прошлогодних визитов. Если так, то он наверняка найдется в одном из кармашков сумки.

Он вновь приложил ухо к двери и прислушался… внутри тихо как в гробу. Нажать на белую кнопку звонка было очень соблазнительно, но он удержался. Вскинул сумку на плечо и спустился по скрипучей лестнице.

По дороге обратно он попытался представить, как же выглядит квартира сейчас. Без сомнения, он то и дело натыкался бы на свои вещи: на узкой доске, вделанной в стеллажи — из-за нехватки места в крошечной квартирке, где письменный стол некуда было поставить, — на этой слегка покатой, обработанной морилкой коричневой доске наверняка лежат его бумаги… а то и какие-нибудь забытые черновые обрывки. Наверняка там высится стопка писем, которые он не выбрасывал, потому что еще не ответил… и теперь уже никогда не ответит. Над столом — маленькая лампа на зажиме, а за этой пыльной пластмассовой лампой — книги, которые он берег как зеницу ока: западные издания стихов, Аполлинер, Кава-фис, Т. С. Элиот; «Надя» Бретона; «Как оно есть» и «Из недописанного произведения» Беккета. На Западе он все эти книги купил заново, но там они легли мертвым грузом. Здесь

они были его сокровищем: раритеты, нередко добываемые ценой униженных поклонов, иной раз он крал их со стендов Лейпцигской книжной ярмарки. Теперь они покрываются пылью…

Он там, внутри, поди, и не шевельнулся, когда за дверью послышался шорох. Сидит в маленькой задымленной гостиной, склонясь над своей доской, и что-то тихонько себе царапает. Сидит в известной своей защитной позиции, спиной к дверям, на загривке — излучаемый мышечным напряжением невидимый щит, оберегающий от помех и взглядов. Человек этот безостановочно пишет, что именно он пишет — уже не важно, ибо он пишет только для безымянного Бога. Для Него изливаются его строки, так уж издавна повелось. Персонажи?… Этот Бог никогда не вмешивался, никогда не требовал от него персонажей.

Почему он не отпер дверь, не вошел в гостиную? Может, тогда и различил бы, который из них живой, а который призрак…

— А как там Мона поживает?

Вопрос этот задали почти в самом конце Уландштрассе. Спросили не о его состоянии, а как поживает Мона. Он-то всегда поживал хорошо, уже который год и все на плаву, и все у него хорошо, — этого требует репутация, прочно за ним

закрепившаяся. Рядом стоял юноша (похоже, они мимолетно знакомы) и осведомлялся о Моне.

— Мы какое-то время не виделись, — сказал юноша. — По-моему, довольно долго. Но у тебя, судя по виду, все неплохо?

— Угу, — кивнул Ц. — У меня все отлично.

— Я обещал к вам заглянуть, то есть Моне обещал, — говорил юноша, пока Ц. ждал, когда же его наконец осенит и память подскажет, кто это такой.

— Она хотела вернуться к рождественским праздникам. Уже известно, когда именно?

— Кто… Мона? — спросил Ц. — Там, кажется, все слегка затягивается.

— Последний раз я ее видел месяца два назад, она говорила, что ей нужно в Галле, но к Рождеству собиралась вернуться.

— Мне пора на вокзал, — сказал Ц. — К матери хочу съездить.

— Не стану тебя задерживать. Но ты все-таки передай, что перед праздниками я загляну, как условились. Надеюсь, тебе не помешает, если я загляну… я знаю, ты все пишешь.

— Ага, — кивнул Ц.; он указал пальцем в сторону Шпитталтрассе: — Вон там наверху я и сижу. Да ты и сам знаешь, где я сижу и пишу.

— Знаю конечно, — сказал юноша; наверное, это был один из Мониных студентов. — Я тебе правда не помешаю…

Ц. сидел на остановке, примостившись на выступ витрины книжного магазина, и поджидал трамвая; здесь, спиной к стеклу, в нише витрины, он был защищен от льющей сверху влаги. От вокзала трамваи шли бойко, один за другим, в обратную же сторону, к центру, движение буксовало. Из трамваев, что останавливались напротив, вываливались необозримые толпы, которые не сразу рассеивались в хаосе уличного движения; перед остановкой образовалась пробка, отряды велосипедистов настырно звенели в свои звонки, между ними шныряли пешеходы… Ц. вдруг решил, что с минуты на минуту из одного из трамваев выйдет Мона, вот-вот он увидит, как она там стоит: ее затерло в толпе, толкают, пинают, а у нее багаж, она вся обвешана сумками, вернулась из Галле. И что бы он сделал: подошел бы и поздоровался?… Вряд ли, подумал он.

Наконец появился трамвай в сторону вокзала. И вскоре он уже сидел в скоростном берлинском поезде.

Что бы произошло, встреть он Мону на остановке? Ночевка, по крайней мере, была бы

обеспечена. А теперь приходится ехать в Берлин, и там — на Западе, в районе площади Савиньи, — уповать на счастливый случай. Впрочем, случай не такой уж и исключительный; на площади Савиньи обычно встречается уйма знакомых.

Но у Моны он не смог бы поспать один, во всяком случае это превратилось бы в целую проблему. Лучше было бы пойти к Марте и заночевать у нее… теперь поздно, он так и не смог ни на что решиться. Однажды, несколько лет назад, Марта сказала одну памятную фразу: «Без твоего жезла моя дыра обойдется, а без тебя — нет». Для него это прозвучало как избавление.

С Моной случилась бы ссора, подобная тем, что уже происходили у них с Геддой, пришлось бы ему отговариваться, переливать из пустого в порожнее, объяснять — или же сознаваться? — что вот, мол, опять импотенция. Мона или не поверила бы, или приняла бы все на свой счет. И была бы права, если бы не поверила, — и не права, если бы приняла на свой счет. Заявила бы, что он ее разлюбил… но это неправда, он любил ее, только спать с ней не хотел. Он и Гедду любил, но и с ней уже спать не хотел. Или не мог. Марту он не любил, но спать с ней и хотел, и мог. Он испытывал форменный страх перед минутой,

когда начнет любить Марту…

Мона (ему казалось, что это так) была не против замужества, хотя тщательно обходила эту тему… знала, что об этом и речи не может быть, он предупредил ее в самом начале… но так ли уж он уверен, что об этом не может быть и речи?

Его потенции (полагал он) никогда не хватит на то, чтобы пробиться сквозь десятилетия брачного бункера. При слове *обязанность* на лбу выступает холодный пот, при виде брачной постели желудок сводят спазмы. Ему милей подворотня, скамейка в парке и общественный писсуар; когда утолялось желание, дело теряло всякую прелесть. У него сложности с близостью и дистанцией, обозначила как-то раз Гедда. Вероятно, она была права, близость ему по душе только на очень большом расстоянии. Гедда произнесла множество разных фраз, которые он пережевывал до сих пор. Для тебя, упрекнула она однажды, любовь — это лишь временное состояние!

Вспоминая эту фразу, он чувствовал боль… боль утраты (быстро перерождавшуюся в зависть), ему чего-то недостает, а он не умеет сыскать причины. Любовь для него никогда не достигнет планки обыденности, сказал он себе. Едва она теряет статус чрезвычайного положения, он

тотчас перестает в нее верить. Никогда не спал с Геддой в одной постели, против этого Геддиного желания имелось оружие, бьющее без промаху: он храпит. Но когда спал один, то не храпел, во всяком случае по утверждению Гедды.

Свое отвращение к совместному спанью он списывал на тот факт (так это объяснялось Гедде), что до своих десяти, а то и двенадцати лет из-за нехватки места в перенаселенной квартире деда и бабки спал в одной кровати с матерью. Квартира практически вся состояла из громаднейшей кухни, к которой примыкали, ненужными аппендиксами, крохотные каморки, и одну из таких каморок чуть ли не целиком заполняла двуспальная родительская кровать. Почти все детство он спал рядом с матерью, на половине отца, сгинувшего в сталинградском котле; только со смертью бабушки положение это изменилось. Все годы, что помнил себя, он каждую ночь занимался тем, что активно предотвращал у себя эрекции, а когда внимание ослабевало и они все же случались — скрывал их от матери. С той поры он засыпал только на правом боку, так он себе предписал: отвернувшись от матери, в позе, которая, как потом объяснили на санподготовке в армии, называется *стабильное положение на*

боку. Так перевозят раненых, получивших удар штыком в пах: правая нога продолжает прямую линию туловища, которому следует занимать как можно меньше места; левая, согнутая в колене под прямым углом, перекинута через таз, обеспечивая, с опорой на стопу и колено, стабильность положения, в котором даже потерявший сознание может быть предоставлен самому себе.

Таким манером он и ложился, стараясь, чтобы пространство, разделяющее его с матерью, было как можно больше; уязвимый мягкий отросток, что рос у него между ног, располагался в мертвой зоне, под ляжкой согнутой левой ноги, где летом прел от жары. Мать, похоже, тоже лежала на боку, он слышал ее дыхание, даже когда пытался не обращать на это внимания. Его взгляды и мысли устремлялись во тьму, упирались в стенку, буравили кладку, выходили на улицу. Там было жарко и сумрачно… и у него за спиной тоже было жарко и сумрачно.

Сморенный жарой, он засыпал, но через пару минут опять просыпался в испуге: никак сбросил с себя одеяло? раскрылся и выставил матери голый зад? Она лежит рядом с высоким зеркалом, на левом боку, и, возможно, видит его отражение. Не упал ли единственный проблеск света в чер-

ной каморке, отраженный зеркалом, в аккурат на две худосочные округлости, которые он выставил наружу? В последний момент он накидывал душное одеяло, прикрывая нижнюю часть тела; мать ворочалась, слышалось, как у нее из горла исходит тяжелый вздох… Не прозвучал ли вздох сердито и досадливо?

Нет, она просто вспоминала во сне отца, промышлявшего в Сталинграде кровавым своим ремеслом. Вздор, война вот уже пару лет как закончилась, невозможно, чтобы отец еще оставался в живых. И вот он был обречен заполнять постель отца своего…

Днем его тоже все чаще и чаще занимало существование органа, растущего между ног. Теперь они будут вместе до конца дней — озарило его внезапным пониманием. Часть тела, которую до сих пор если и называли каким-нибудь существительным, то только в уменьшительной форме, обнаруживала совершенно оригинальные симптомы роста: казалось, в ней накопился некий протест против насмешливого тона. Протест этот был вообще-то ему по душе, но хотелось бы держать ситуацию под контролем. Однако «конец» — это обозначение он подхватил у одноклассников — противостоял даже хозяину… так, может,

он ему вовсе и не хозяин? Существо это подчинялось силе, подлинный расцвет которой поджидал его лишь в будущем. Отросток начал с того, что стал, увеличиваться в размерах в такие минуты, когда это было совсем неуместно, — скажем, если подумать о нем на улице, на городском пляже, в школе, а главное — вечером, на сон грядущий.

После обеда, в те дни, что матери не было дома, он вставал в их общей спальне перед зеркалом и изучал предмет, заметно разраставшийся в его руках. Да он вырастал от одного только взгляда… отростку хотелось, чтобы его замечали, отросток боролся за уважение, в котором ему отказывали. В сомнительных книжонках он читал про гипноз, это связано с силой воли, со способностью, которую мать напрочь за ним отрицает. Здесь он мог бы, наверное, испытать эту самую силу воли: стоя перед зеркалом, он заставлял «конец» разрастись — что вызывало труднообъяснимое удовольствие, — а потом пытался силой гипноза повергнуть его могущество. После этого в душе оставался нехороший осадок, отросток не подчинялся, от него исходила сила, подавлявшая волю… но он же читал, что зачастую нужно годами тренировать волю, прежде чем гипноз начнет действовать по-настоящему. Он твердо

решил доказать матери, что она не права, когда утверждает, будто у него пет воли… уж себе-то он точно это докажет!

Но успехи то и дело обнаруживали свою непрочность и как будто даже зависели от времени года. Удерживать орган в минимальном формате гораздо лучше удавалось зимой; да и под толстой периной все равно ничего не заметно… а весной все опять становилось видно. Это стыдно, сколько книг ни прочти, нигде нет ни слова о том, что его видно. Значит, все дело в том, чтобы он оставался невидимым… а невидимость проще всего достигается полным исчезновением. Абсурдно, но невыносимый привесок должен исчезнуть, подобно отцу… в каком-нибудь Сталинграде, в котле, где все сровняют с землей, где все живое погибнет. Должна случиться кровавая бойня, от которой — как это было с его отцом — останется только официальная похоронка с сухой пометкой: *пропал без вести.*

Летом, когда становилось угрожающе жарко, одеяло меняли на тонкую простынку, под которой все проступало очень отчетливо. И когда мать приходила в спальню, там было еще не совсем темно. Когда она появлялась — порой так внезапно, будто какое-то время стояла, подслуши-

вая, под дверью, — руки под простыней взлетали до самой груди; каким бы молниеносным, даже спросонья, ни был рефлекс, она, должно быть, что-нибудь да примечала. По лицу было видно, что она думает: у парня одни пакости на уме, так я и знала! — Она все сокрушалась, что сын связался с дурной компанией… она имела в виду старших мальчиков, уже закончивших школу, и второгодников, повторявших последний класс. Однажды они измеряли, у кого длиннее конец, его послали за линейкой… а потом прогнали взашей, и линейки своей он уже больше не увидел.

С утра он проснулся в залитой светом комнате и с ужасом обнаружил, что ночью, взопрев, скинул с себя простыню. Он резко повернул голову: матери рядом нет. Она уже встала, комната беспощадно светла и тиха; квартира заполнена молчанием. Как долго он уже так лежит — должно быть, не первый час… один на один со своей наготой, и все увидели, все всё узнали. Ночная рубашка задралась до самого горла, он лежал на спине, слегка раскинув ноги, а из паха вздымался единственный его орган, который он еще чувствовал. Именно этот орган и был виноват в молчании, его окружающем. Вызывающий, требовательный, он возносил главу и нежился

на солнце.

* * *

Ц. знал, что возле площади Савиньи в берлинском Шарлоттенбурге он во всякое время встретит кого-нибудь, кто предложит одну или несколько ночевок. Ресторанчики, лежавшие на этой площади, были днем и ночью наводнены поэтами и поэтессами из ГДР — кто-то «отъехал», кого-то лишили гражданства, кого-то снабдили визой на пару лет; между собой они называли площадь Савиньи «Бермудским треугольником»; кто сюда попал, говаривали они, может только идти ко дну. Ему бы следовало, порой говорил он себе, после отъезда сразу поехать в Западный Берлин. Сам он до этого не додумался, никто не подсказал — он ведь ничейный…

Приезжая в Западный Берлин, он не терял из виду и другой пятачок (неподалеку от площади Савиньи), который тоже прозвал треугольником…

Когда поезд прибыл в Берлин, Ц. прямиком проехал до станции «Фридрихштрассе». Там он первым делом зашел в кафе, рядом с железнодорожным мостом, напротив пограничного контрольно-пропускного пункта, под названи-

ем «Маленькая кондитерская» и быстро влил в себя несколько чашек кофе. В уборной глянул в зеркало и ужаснулся: изнуренный бессонницей, серый, траченный алкоголем, на десять лет постаревший, воспаленные глаза блестят, как у разочарованного безумца. Он сбрызнул физиономию водой из-под крана и промокнул туалетной бумагой; полотенце никуда не годилось — склизкая тряпка, которую как будто окунули в парфюмерное жидкое мыло.

Затем направился к пограничному пункту; по дороге пытался сделать решительное лицо — захваченное «задачей». Лицо при переходе границы и впрямь выполняло *задачу:* это оно переправляло через контрольные пункты принадлежащую ему личность, и лицо это в любом случае — неправильное. В идеальном случае ему надлежало быть вне всякого подозрения, но это невозможно по определению: контрольные пункты исходят из презумпции подозрения. Лицо вне всякого подозрения вызывает, стало быть, безграничные подозрения… при переходе границы он каждый раз чувствовал себя агентом Штази — или хотел себя таковым почувствовать, — но воспринимал сие чувство как самозванство, прозрачное и крайне подозрительное самозванство. Несмотря

на свою сосредоточенную мину, Ц. витал в эмпиреях и, переходя Фридрихштрассе, принудил несколько автомобилей к визгливому аварийному торможению; нисколько не испугавшись, он дружелюбно кивнул негодующим водителям. И тут же встал в хвост сравнительно небольшой очереди перед паспортным контролем.

— Знаете, что вам обязательно нужно сделать? — спросил пограничник в окне маленькой будки.

— Что? — Ц., все еще игравший в рассеянного и очень занятого гражданина, содрогнулся.

— Вам обязательно нужно побриться, — сказал пограничник. — А то вас уже с фотографией не сличишь.

— О… — протянул Ц., — вот увидите, когда я буду завтра возвращаться домой, я буду побрит. Просто бритву в «Кемпинском» забыл…

— Ну, будем надеяться, что ее там не сперли, — неожиданно дружелюбно осклабился пограничник.

Получив свой штемпель, Ц. и поспешил вперед по узенькому вольеру вдоль железных перилец — ни дать ни взять чемоданчик на конвейерной ленте — до последней стальной двери, где стоял еще один проверяющий. Тот мельком взглянул на

штемпель и сделал рукой разрешающий жест.

Потом, оказавшись в желтушно-буром кафельном зале — до чего это был отвратный цвет, — он никогда не решался обернуться на последнего пограничника… должно быть, из страха, что окликнут: «А ну-ка подите сюда, гражданин!» на явственно саксонском наречии; он так и слышал, как гулко разносится по залу голос. Нет, просто он, наверное, — затылком чувствовал взгляды пограничной охраны. — Неужто и вправду могут окликнуть? Ведь желтушно-бурый зал — это уже территория Западного Берлина… предположительно! Если сейчас послышится голос, то, пожалуй, вообще не нужно никак реагировать: он не слышит окрика и тупо идет вперед. Что они делают? Догоняют, берут за рукав, пока еще мягко, без шума. Но хватка вполне ощутима, молниеносно может стать полицейским захватом: «Дайте-ка ваш паспорт на секундочку!» Вырваться и бежать? Швырнуть, допустим, сумку в морду тому пограничнику — и ноги в руки. Если там, наверху, не подоспеет поезд — он погиб. На этом перроне небось каждый второй или третий — из Штази. Смешно… что он сделает, если они отловят его на Цоо: хлороформ под нос — и в машину? Никому ведь нет дела. Никто даже и не заметит.

Обернулся он, только когда стал подниматься к электричкам наземного метро. Пограничный полицейский и не думал глядеть ему вслед, он глядел на часы, поджидая сменщика. Никто его не окликнул… и тем не менее в зале, казалось, както странно попахивало хлороформом. Казалось, запах исходил от этой неприятной, желтушнобурой краски, матовой масляной краски с едким солоноватым запахом старых вокзалов, где всегда недотапливают. Когда в книгах (из раздела *Холокост атр; Гулаг)* ему встречалось слово *Лубянка,* он всегда видел перед собой коридоры этой тюрьмы, выкрашенные точно такой же краской. Да, это *Лубянка* источает, как ему чудилось, холодный, липкий запах краски и хлороформа, от которого слепнешь; и запах этот распространился до западных рубежей так называемой ГДР и никогда уже из этой страны не выветрится…

Запах хлороформа отступал, только когда он стоял в вагоне надземки (на станции «Фридрихштрассе» сесть никогда не удавалось), или на следующей остановке. Когда, например, входили бомжи: они брали поезд на абордаж, водворялись в вагон, нагло гоготали, рыком усмиряли своры своих собак, раскованно плюхались на пол. Они были пьяные, в лохмотьях, с гноящимися гла-

зами, неуверенные… но неуверенные каким-то иным, почти завидным для Ц. образом; здесь, в метро, они были у себя дома. Даже когда появлялись контролеры, бомжи все равно чувствовали себя дома, их уже уводили, а они все отпускали свои сальные шутки. Затесавшись среди бомжей, он воровато приложился к бутылке виски, купленной в Пробстцелла; те смотрели на это как на нечто само собой разумеющееся. Виски наконец вышибло из ноздрей запах хлороформа.

«Лертер Банхоф», «Бельвю», «Тиргартен», «Цоо»; спустившись по лесенкам с перрона на первый этаж, он выбросил в урну пустую бутыль и стал бесцельно бродить по переходам вокзала, где вскоре заплутал. Вдруг оказался у двери в книжную лавку имени Генриха Гейне, он повернул ручку, дверь подалась, было еще открыто. Эта лавка — сущий книжный рай — была, похоже, открыта всегда, днем и ночью; бочком, правое плечо вперед, левое осторожно подтягивая сзади, пробираешься, бывало, узкими ущельями между отвесными книжными скалами и все-таки то и дело сшибаешь шаткие книжные башни. Эта лавка — атомный реактор литературы, взорвись она — и силой человеческого духа глобус, кажется, пробуравит до земного ядра. Ц. целеустремленно

пробрался к кассе, слева от которой стоял небольшой стеллаж, до отказа набитый сюрреалистами и дадаистами, в основном продукцией мелких издательств. Он купил книгу под названием «Сегодня, или Душа в двадцатом веке» Артура Кравана, странной и не вполне прозрачной личности из круга французских сюрреалистов. Краван был персонажем, словно придуманным романистом; боксер, заодно сочинявший стихи, и не только стихи. Он же издавал одноименный журнал «Сегодня»; вышло, впрочем, всего лишь пять номеров. Какое-то время его поддерживал Андре Бретон; однажды, в 1916 году, он вышел на ринг против чемпиона мира американца Джека Джонсона, в первом раунде был отправлен в нокаут. Потом скрылся за океан (видимо, на одном корабле с Троцким), в тридцать с небольшим утонул в Мексике, катаясь на лодке. Когда Ц. впервые прочел его сумрачную биографию, он сразу подумал: «Со мной такого не случится, этот век я переживу!»

Книжка стоила всего двенадцать марок; расплачиваясь, он с ужасом обнаружил, что разменял предпоследнюю сотню.

Было начало двенадцатого ночи, когда наконец, перейдя через улицу, он оказался в «Пресс-ка-

фе» напротив вокзала. Приезжая в Западный Берлин, он первым делом шел в это кафе, работавшее круглосуточно: здесь он приводил в порядок свои мысли. И приводил их в порядок снова и снова, когда часами, полночи, с пустым брюхом, с траченой душой, без всякой надежды остановиться, вышагивал по маршруту, который мысленно сложил в свой «треугольник». Потом снова сидел, тяжело дыша, с багровым лицом в «Пресс-кафе»…

Если сесть у окна, то взгляд упирался в самый центр метрополии — только стекло отделяло тебя от распоясавшейся яростной стихии людского движения. На перекрестке стоял в пробке автомобильный поток, шедший слева, из-под моста, стояли в пробке ненужные автомобили, выезжавшие с Харденбергплатц, стоял транспорт, идущий по Будапештерштрассе, а на выезде с Йоахимсталерштрассе стояла, подрагивая, татарская орда сверкающих машин, поджидая, когда светофор даст сигнал к атаке. Надо всем этим кружил психоделический дымок пестро окрашенных выхлопных газов. А в самой гуще пробки — пешеходы; не обращая внимания на исступленное мигание светофоров, они стояли посреди улицы, многословно судача о футбольном матче. В цен-

тре высился прямой как палка, сумасшедший старик, он истошно вопил и подбрасывал в воздух кипы отпечатанных листовок. Пронзительно завывая сиренами, к киоскам на Харденбергплатц рванули полицейские автомашины, ватага полицейских пошла на штурм, атаковала скопление дилеров, уложила на асфальт, заковала в наручники. В сочащейся сырости декабрьской ночи дорожное покрытие отразило игру трепещущих красок. Печальное небо было Джексоном Поллоком, расписавшим улицу пестрыми слезками и волшебными крапинами. Ц. чувствовал, как его мозг начинает медленно пожирать безумие красок, под крышей черепа заскулило сентиментальное бешенство. Официантка-полька хорошо понимала, что с ним творится, часто к нему подходила, приносила то шнапс, то кофе, успокаивала своими шуточками и раскатистым «р». Не важно, что с ним происходило, — хмель и усталость составляли сейчас состояние, с которым тело его соглашалось. Он встал, в мыслях — развал, в членах — беспамятство, заплатил и пошел привычным своим путем.

Он не направился сразу к Кантштрассе, выводившей прямиком к площади Савиньи; перешел Йоахимсталер и по правой стороне двинулся

вперед, в сторону руины Гедехтнискирхе. Сплошной вереницей тянулись здесь порнокино, стриптиз-бары и секс-шопы, весь левый фронт зданий состоял из заведений этого рода. Дойдя до конца тротуара, где улица поворачивала под острым углом, он оказался в самом начале Кантштрассе. Если пройти по переходу, прорытому под мощным уродливым бетонным строением, подпертым колоннами, и податься к Йоахимсталерштрассе, то бишь обратно, то и здесь не миновать скопления секс-кино и прочего. И впереди, на Йоахимсталер, этого добра было видимо-невидимо. Этот путь и был тем, что он называл своим «треугольником».

Он помнил, как проводил здесь порой целые ночи, переходя от одного ресторана к другому, но никогда не решаясь заглянуть внутрь. Больше всего хотелось, чтобы кто-нибудь — в воображении непременно женщина — пригласил бы его заглянуть в одну из этих сумрачных каверн. Треугольник улиц был его магическим треугольником, по бедрам которого, мучась возрастающей одышкой, он вышагивал час за часом, подав туловище вперед/вперив, как пес, взгляд в землю, в вечном страхе, что вот-вот его начнут замечать… Того, кто бегает тут как заведенный, непременно

заметят, думал он. Поэтому, проходя мимо сверкающих подъездов, где в дверях висели стеклянные ящички с фотографиями и анонсами ожидаемой программы, он ускорял шаг. И, лишь очутившись на более безобидном участке улицы, переходил на прогулочный шаг. Внизу, на Йоахимсталер, на амплитуде своего треугольника, всякий раз думал: пока хватит…

От угла доплетался, едва волоча ноги, до «Пресс-кафе», где пил кофе с коньяком и отдыхал. Объясняясь С полькой официанткой, все чаще и чаще заходился в кашле; нервное волнение, которому не позволялось прорваться наружу, выходило на волю горловыми конвульсиями; официантка увещевала его, приговаривая С польским акцентом: «Не курите, если вам не можно…»

Он знал, что не сможет сейчас забрать сумку и направиться к площади Савиньи (какое там!), что снова двинет к Гедехтнискирхе… или же, для разнообразия, сперва по Йоахимсталер, потом по Кантштрассе — до начала улицы, потом, завернув за угол, — обратно в «Пресс-кафе»… ни в один из стеклянных ящичков он пока так и не заглянул и сейчас, завернув за угол, пошел медленнее, приостановился, как бы случайно, перед одним из входов и стал прикуривать; глаза пожирали

ящик, но было далековато. Он поднял голову от все еще горящей зажигалки, шагнул — якобы невзначай — поближе и умудрился налететь на прохожего… Пробормотал: «Извините!» — и, споткнувшись, подался еще на два-три шага к входу. За стеклом показались раздвинутые ляжки, очень стройные, почти нереального цвета; треугольник посредине или прикрыт ладонью, или заклеен красной звездочкой из глянцевой бумаги. Может быть, в одной из витрин, в глубине коридора, звездочка отпадет…

Когда он раз десять и более обходил магическую окружность, когда накатывала усталость и паузы в кафе становились все длиннее — болели ноги, боль поднималась все выше, болел весь костяк, ляжки до самых бедер сводило от напряжения, плечи и руки наливались чугунной тяжестью, — он говорил себе, что сможет расстаться с этим кварталом лишь после того, как заглянет в одно из тех злачных мест. Он чувствовал, что туда ему вовсе не хочется, хотелось идти вперед, стирать ноги до волдырей — да он уже стер их, подошвы огнем горят — день и ночь, заключенный в шинель своей жажды, помешавшись на безысходном желании, ослепленный своей одержимостью… и ослепляемый тем боль-

ше, чем дольше шагал вперед, зная, что все равно не увидит того, что жаждет увидеть.

Известно, как там все происходит: входишь в крошечную кабинку, бросаешь монету в прорезь, помеченную красной стрелкой. Поднимаются жалюзи, за стеклом — освещенная комната, где крутится нечто вроде беговой дорожки. На ленте приплясывают несколько раздетых женщин, под ритмичную танцевальную музыку они совершают легкие, почти балетные па. Когда одна из них подъезжает к месту, где подняты жалюзи, она садится на ленту или встает на колени, раздвигает ноги или выставляет зад… но до последней секунды держит руку между ног, и едва отнимает ладонь, как жалюзи падают. В прорезь снова летит монета…

Должно быть, в комнате имеется лампочка, которую видит женщина, и за доли секунды до того, как упадут жалюзи, лампочка загорается…

Он корил себя за то, что не позаботился о ночлеге. Он знал, как кончаются такие ночи, — чай, не впервой. До света, в невызревший час между собакой и волком, в каком-нибудь кафе (только не в «Пресс-кафе»; на этой стадии он туда уже не решался); конченый, потрепанный, с лицом надорванным разочарованиями ночи и серым,

как это утро, серенький недоносок, с которым еще неясно, что станется, будет силиться продержаться на кофе и коньяке.

Как же он поедет сейчас на Восток в таком состоянии… в таком смятении, с запахом, которым пропитался у входов в пип-шоу? Перед всегда распахнутыми дверями этих институтов — придуманных специально для его истязания — на тротуар оседали невидимые облака, вобравшие испарения уничтоженных мужчин… ты вдыхал потерянное самолюбие этих темных ползучих личностей, входивших внутрь и выходивших наружу, в одежде и волосах еще несколько дней держались их кишечные газы, их кровь, пот и слезы, подлые выдохи, вздутия, запах сгоревшего семени. И вонь эта перемешивалась с благоуханием чистых женщин, пляшущих перед ними, а в паузах принимающих мягкие обеззараживающие ванны…

Когда на утренней заре он сидел в каком-нибудь кафе и пил, в нем совсем не было Бога. Изгнанный из мира, разбитый до мозга костей. Око, на которое он уповал где-то посредине треугольника своего пути, на него не взглянуло… да и он его не разглядел. Его троичный путь оказался бесконечным пустынным маршем вдоль мертвой ссохлой

периферии. Он размышлял, не пройтись ли до пограничного пункта на вокзале Фридрихштрассе пешком — так сказать, для утренней зарядки — или же все-таки наскрести денег на такси.

Нет, через границу ему нельзя. Один раз, прежде чем выйти из треугольника, он все же сунул нос в одно из пип-шоу, чтобы торопливо, как бы невзначай, с видом полной незаинтересованности, поглядеть на освежеванный телесный низ за стеклом. Тут вдруг из-за поворота, откуда доносились ритмичное багровое мерцание и возбуждающий грохот навязчивых ударных, навстречу ему вышел пожилой маленький человечек в легком, летнем на вид пальтеце. «Вот, хочешь? Дарю!» — сказал человечек, протягивая тонкий, свернутый в рулон журнальчик. Ц., испуганно обернувшись в сторону ящика — то был момент, когда он и вправду вынужден был глядеть на разверстую плоть с серебристой или розовой звездочкой между ног, — взял журнал и вежливо поблагодарил. Мужчина кивнул, бросил на Ц. еще один взгляд своих темных печальных глаз и вышел на улицу.

Это был яркий порножурнал… вынув из вокзальной камеры хранения сумку, он подсунул его под резинку, которой были перехвачены четыре

пухлых томика Вальтера Беньямина, — казалось, он уже целую вечность таскает их с Запада на Восток и обратно. На границе его еще ни разу, правда, не проверяли, но ведь когда-нибудь, сказал он себе, все случается в первый раз. Не нужно много фантазии, чтобы нарисовать безнадежную ситуацию, как, перерыв его шмотки, они находят на дне сумки журнал. Высший по званию пограничник громко, чтобы услышала вся очередь, притаившаяся за Ц., зачитает заглавие, вызывающими литерами красующееся на обложке: *Анал*! Две протяжные гласные тут же заставят смолкнуть скучающий гул голосов в желтушно-буром зале, воняющем хлороформом. Офицер бегло, большим пальцем, пролистнет журнальчик, пожмет плечами, покачает головой, а потом, по-прежнему нарочито громко, спросит: «Вы ведь в курсе, что такое ввозить не разрешается?» — «А я и не собирался ввозить. Я это тут оставляю!» Ц. представлялся самый безобидный сценарий ситуации. «Еще бы вы не оставили. Отправляйтесь за въездным штампом».

Он уже сидел в самолете, летевшем во Франкфурт, а в голове все копошились эти мысли. Втиснувшись в кресло у окна, торопливо смолил сигарету; весь лоб был в испарине, он вытирал

пот рукавом. На самолет он едва успел: такси по дороге в аэропорт Тегель то и дело застревало в послеполуденных пробках, автобус с пассажирами уже отъехал, к трапу самолета, поджидавшего на взлетном поле, его подвезла легковушка компании PanAm. На взлете его затошнило; бессонные ночи и алкоголь давали о себе знать; он спросил виски; стюардесса приветливо улыбнулась и сказала, что такие дорогие напитки — только за свой счет.

Вспомнилось, как он летел в первый раз из Франкфурта в Берлин: стоял совершенно безоблачный день, земля хорошо просматривалась из иллюминатора. «Мы уже над ГДР?» — спросил он проходившую мимо стюардессу. «Да, уже какое-то время», — отвечала она. У него камень с души свалился: вот она там внизу, эта самая ГДР, за какие-то полчаса самолет, величественно гудя, пролетел ее всю от края до края. И этот клочок земли хочет творить историю, именует себя нерушимым оплотом прогрессивного человечества или чем-то вроде того… Овечье блеянье!

И все-таки он беспрерывно оправдывается перед этой страной! Если когда-нибудь придет час, когда он снова сможет писать (сейчас, впрочем, казалось, что этот миг отодвинулся в необозри-

мые дали), то придется, наверное, за неимением темы писать о магическом треугольнике, из которого он только что выбрался. Но как оправдать это перед министерством культуры? Поиском объяснений для самого себя он уже занимался. Свои шатания по горящему огнями привокзальному треугольнику он оправдывал тем, что пытается высмотреть тайну. Что же это за тайна?

Та, что будто бы приоткрывается по мере того, как в прорезь летят монеты?

Раскрытая половая дыра перед тобой на сцене (на которую, ежели повезет, позволят взглянуть одним глазком) — это не тайна… для платежеспособных в свободном мире тайн вообще не осталось. То, что перед тобой на сцене, — это свобода, а свобода — чертовски выгодный бизнес. Лучшего бизнеса, чем свобода, не существует, все очень просто. Если люди жаждут барахтаться в океане глупости, то им это будет предложено — в изобилии и с обслугой «топлес».

А может, неизъяснимая загадка — в нем самом? Из ямы вышел, в яму в конце и вернется… но так и не знает, откуда пришел. Ц. всегда недостаточно было того, что он об этом знал, что мог знать. Он не помнил, как начал… не помнил, как (когда и зачем) начал писать, начало тонуло в мутной

мгле. А поскольку не знал, как начал, то не знал и как продолжать. Может, его страна (там, внизу, под самолетом) была права, качая объединенными силами головой на бредовую идею Ц. стать писателем. Они все силы бросили на это качание головами (на отрицание того, что Ц. полагал своей жизнью), всех знакомых и родственников, так называемый отчий дом, друзей и возлюбленных — всех призвали качать головами и отрицать… да они убить его пытались! И за вычетом довольно убогого остатка им это удалось…

Они и его заставили головой качать; отрицая себя, он и позабыл, как начал писать…

И все-таки лежит перед ними мордой вниз, умоляет, чтобы они хоть разочек кивнули одобрительно…

Он вспомнил, какое испытал потрясение, впервые увидав себя на экране телевизора… и всякий раз шок повторялся заново. Неужели, с ужасом спрашивал он себя, он и есть это одутловатое существо, которое тщетно силится съежиться там, на экране? Этот нервный урод на рябом стекле, что хватает ртом воздух и слова, норовит сдвинуться к краю прямоугольника, отчаянно извивается под вопросами собеседника, тщетно пытающегося что-то выяснить? Неужели эта

медуза имеет к нему отношение? Только в одной ипостаси, лежащей далеко за пределом экрана. Его можно показывать только в ракурсе беглеца и чтобы камера в спину палила. Нечто похожее случалось с ним и когда доводилось услышать по радио собственный голос — смятый саксонский, хнычущее месиво южных предместий восточной зоны, сдавленный скулеж (востребованный большинством правящих бонз СЕПГ), в котором каждое слово звучит отвратительно надменно и фальшиво. Этот язык неприязненно относится к электронному веку… и аудиовизуальные достижения мультимедийного мира могут пользоваться этим языком разве что для пародии и насмешки…

Что ж ему теперь, так и таращиться из обреченной на смерть системы, откуда он был родом?

Усевшись в большом ресторане самообслуживания на франкфуртском вокзале, он все еще пережевывал эти мысли… он разместился сзади, на невысоком, отгороженном деревянным барьером возвышении, куда вело несколько ступенек. Здесь, наверху, устроились те, кто обособился от потока пассажиров, в основном иностранцы; они теснились вокруг столов, увлеченные, как видно, нескончаемым страстным диспутом. Долетали

обрывки тюркских, арабских, восточноевропейских языков; здесь никто не заметит, что ты слишком налегаешь на выпивку. До отправления нюрнбергского поезда оставалось два часа; можно еще хорошенько выпить или прогуляться по франкфуртскому привокзальному кварталу…

Не в этом ли душевном состоянии ему и следует оправдываться в распущенности… неспособности любить… неспособности сесть и начать писать? Что делать… зачем он здесь? Только присутствие Гедды не давало этим вопросам его уничтожить. Геддина симпатия, преданность, нежность не давали… почему же он все время бежит от нее? Потому что вопросы эти не заглушить…

До истечения срока визы остается еще три недели (он повторялся!), можно уехать, можно остаться, — по существу, все зависит от Гедды… но по силам ли ей эта ноша? Государства, перед которым нужно оправдываться, у него больше нет — между ним и испытующим взглядом министра, что выдавал ему визу, пролег зон. Того министра больше не существует; можно свободно шляться по злачным кварталам Запада, оплакивать сникший конец — отвечать не придемся; можно писать что вздумается — никому

дела нет. В известном смысле, я лицо без гражданства, приговаривал он, напиваясь все больше. Вроде дряхлого Геддиного отца, который лежит в доме для престарелых под Нюрнбергом, в позе ожидания, разговаривать не хочет да и вставать с постели уже не желает. Читает целыми днями «Правду» или «Известия», отрешенно таращится в серое немецкое небо, слушает стук пневматических молотков немецкой стройки под окном богадельни… к зданию вот уже год пристраивали новый корпус, старость приносила верный доход. И тянется в ожидающем мозгу старика бескрайний разлив излучины Волги, сверкающий плес, которого он лишился. И мысли, наверное, нет-нет да. и сбиваются на жену, которую он любил когда-то, а потом разлюбил, потому что слишком сильной была та любовь и слишком много в ней было вины: мать Гедды покончила с собой в серой враждебной Германии, когда девочке было десять…

Нет, если перед кем и оправдываться, то только перед Богом! Перед этим так называемым Богом там, наверху, выше самолета, перед этой древней инстанцией, чье былое величие осталось в прошлом… Теперь-то мы наконец равные среди равных! Он ткнул в воздух горлышком пивной

бутылки и вылил в стакан остатки.

Он почти забыл, как начинал писать, зато в памяти осталось то время, когда писал для себя. Писал для себя одного: и никто ничего не знал, и, похоже, его это вовсе не печалило. Даже неловко бывало, когда кто-нибудь вдруг выследит и спросит, что это он пишет и зачем. Должно быть, он писал для Бога… это было давно, вроде как в другой эре. Он почти уже забыл то время, но вдруг вновь ощутил к нему живой интерес. Вызвала этот интерес «аграфия», неспособность вывести ни единой строчки, с которой он был бы согласен. Сейчас его, похоже, занимало, как бы вернуться к тому далекому детскому состоянию: писать для Бога или для себя, что на каком-то совсем простом уровне одно и то же…

Но это невозможно, он служащий литературной фабрики, отсюда нет дороги назад. Литературное производство — это чесотка, от которой нипочем не избавишься…

Единственная возможность — сломаться и вообще не писать. Разыграть из себя недоумка… а там, глядишь, и пописывать втихомолку — главное, чтобы налоговики не пронюхали…

Он изо всех сил пытался сломаться, но что-то в организме сопротивлялось. Перед посадкой в

поезд купил еще одну бутылку, но уже сейчас понятно, что и с ней справится…

Возможно, это как-то связано с алкоголем: в последнее время в уме все чаще всплывало имя *Бога*… Размягчение мозгов — вот как это еще называется. Он вернулся вдруг к своей детской вере, вступил в торги с Тем, наверху. И здесь точно сказалось влияние Гедды, о Боге она говорила часто, пребывала с Ним в постоянном конфликте. Геддина распря с творением — любимый славянский конек, в Гедде неизгладимо жило негодование ее предков. Она роптала на Бога, будто этакий святой ратник, явившийся с Востока; обвиняла Его в том, что Он защищает богатых, а бедных косит болезнями, что, вдыхая жизнь, безжалостно обрекает на смерть, нередко мучительную. Договаривалась частенько до того, что обзывала своего Бога бестией… Ц. сидел молча, ничего не доказывал, и она, вероятно, истолковывала его молчание как неприятие. Но это было нечто иное: он просто был напуган глубочайшей верой, какую только можно помыслить. Это была вера Достоевского и Рахманинова, и никакие доказательства тут не годились.

Так и вышло, что Ц. вдруг снова вспомнил о Боге; В детстве подобные мысли занимали его

ежечасно, но никогда не проговаривались: он их стыдился; после создания ГДР мысли о вере были если не наказуемы, то преданы всеобщему осмеянию. Гедда воспринимала диалог с Богом как нечто само собой разумеющееся; она, может быть, сама того не ведая, не была отрезана от своих корней.

Здесь, на Западе, такой почти естественным путем произрастающей традиции веры никогда не существовало. Бог звался здесь другими именами. Он именовался «конфессией» и появлялся в графах анкет, где требовалось сообщить сведения о «включенности» и «принадлежности». Церкви, заведовавшие этим языком, с самого начала указывали, где место «непринадлежным» — вне игрового поля. На сей деловой основе Церкви весьма продвинулись и под конец оказались там, куда стремились сызвеку, — в гетто. Оно состояло из четко разграниченных сфер, из зданий, именуемых «Домами Господними», где решались вопросы преимущественно финансовые. Дома распространились до самых глухих медвежьих углов, и на каждом висел перед входом стеклянный ящичек. По этому признаку Ц. оказалось нетрудно выявить параллель с другим сектором экономики — тем, что торгует сексуальностью,

лежащей за пределами брака, санкционированного Церковью и государством. Эти формы сексуальности также вытеснены в гетто, изгнаны в особые, отгороженные городские кварталы, куда входишь не без известного усилия… в Дом Господень тоже ведь не войдешь, не преодолев некоего барьера. Между двумя институтами есть нечто связующее, несказуемый общий подтекст. Тайные узы, протянутые между похотью и самоотречением.

— Молодой человек! Мне очень жаль, но он недействителен, — сказал проводник.

Он протягивал Ц. билет, только что отданный ему для контроля. Ц. смотрел непонимающе.

— Ваш билет недействителен, он просрочен, — упорствовал проводник. — Посмотрите в кошельке, может, еще один найдется?

Ц. очнулся и, порывшись в кошельке, в самом деле нашел билет, купленный полчаса назад во Франкфурте… Сколько же он таскает с собой таких билетов? В кошельке — целая пачка; это помимо тех, что он послал устроителям для расчета. Кажется, все последние месяцы он только и делал, что ездил по кругу.

Вот уж в который раз повторялся один и тот же маршрут: ночное прибытие в Нюрнберг, по-

пытки дозвониться до Гедды, отказ, обида, отъезд ближайшим утренним поездом в Лейпциг… из Лейпцига в Берлин, из Берлина во Франкфурт, из Франкфурта в Нюрнберг… и с утра пораньше снова в Лейпциг и так далее, вновь и вновь, до конца… до какого конца? Пока не истечет, не исчерпается виза, пока не закончится этот временный статус (куда там!), пока не сможет разлюбить Гедду, покуда достанет сил…

Пока его в порошок не размелет на этой орбите идиотизма, по которой он кружит и кружит вокруг Бога, отказывающего ему в любви. Он избрал Ц. для писательства. Но он так не играет, нет уж, дудки, он отказывается писать до тех пор, пока не узнает любви! И один из них — или Бог, или Ц. — потерпит в этой войне поражение…

Ц. уже подумывал о том, что с утра, вероятно, придется сразу двинуть в Лейпциг (с трехнедельным остатком визы это будет проделано еще не раз); по прибытии в Нюрнберг нужно сразу выбрать подходящий поезд…

Но сперва сходить в банк за деньгами, чтобы, кружа по своей орбите, в очередной раз не попасть в плачевное положение. В Берлине ему пришлось на два дня засесть у знакомого (они встретились в одном из ресторанчиков на пло-

щади Савиньи), пока издательство не прислало денежный перевод, на который он смог купить билет. В положении «обладателей визы» — граждан ГДР, временно находящихся на территории ФРГ, — имелся один существенный недостаток (для Ц, все время находившегося в разъездах, весьма и весьма существенный): невзирая на закрепленное западной Конституцией равноправие, им не выдавали ни чеков, ни чековых карточек, а вдобавок не позволяли расходовать в месяц больше определенной суммы. У Ц. имелся счет в небольшом частном банке с филиалами только во Франконии, той части Баварии, центром которой был Нюрнберг. Поэтому большую часть денег он хранил в издательстве, получая деньги почтовыми переводами. Но сумма за декабрь была пока что не исчерпана, тысячу марок еще можно снять.

Войдя в квартиру, он сразу увидел, что Гедда побывала здесь: поменяла раздавленный аппарат и вынула из почтового ящика его корреспонденцию, сложив все аккуратной стопкой на кухонном столе. Набрав номер, он удивился тому, как быстро она сняла трубку.

— Я тебя уже поджидала, — сказала она. — Ты, как всегда, удрал к матери, верно? Или был у

Моны?

— Да… то есть нет… — отвечал Ц. — Мне прийти к тебе?

— Я не был у Моны. Я ездил к матери, — сказал он, сидя за чашкой кофе в маленькой Геддиной гостиной.

— Мона еще не вернулась из Галле? — спросила Гедда.

— Понятия не имею. Почему тебя это интересует?

— Зато я имею. Она вернулась. Она звонила три дня назад. Может, уже четыре.

— Звонила? А зачем?

Ц. соображал, где он был три-четыре дня назад… возможно, как раз в Лейпциге. Стоял под дверью, подслушивал, она же тем временем сидела у друзей, у которых был телефон, и звонила ему в Нюрнберг…

— Откуда мне знать зачем. Она хотела поговорить с *тобой*, естественно, а не со мной, — сказала Гедда.

Ц. выжидал с ответом; он прошел на кухню, чтобы налить себе еще кофе, и прислонился к плите. Через открытую дверь послышался голос Гедды:

— Я была у тебя, не удивляйся. Сперва террори-

зируешь всю ночь звонками, и вдруг — ни звука. Мне стало как-то не по себе. Вечером я поехала к тебе и только вошла, как зазвонил телефон. Я сдуру сняла трубку.

— Ничего не сдуру. Что она говорила?

— Накинулась на меня, конечно. Кто я такая, что я делаю в твоей квартире — догадаться не трудно. Она мне слова не давала сказать; пожалуй, следовало просто повесить трубку…

— Мне очень жаль! — сказал Ц.

— Я пыталась говорить здраво, но это было невозможно. Она стала кричать, расплакалась… и тут меня наконец осенило. Ты же с ней вовсе не расстался!.. А ведь ты уверял!..

— Да, — кивнул Ц. — Уверял…

— И тебе придется это объяснить! И я бы очень попросила тебя не прятаться на кухне.

— По-моему, я просто забыл, — сказал Ц., возвращаясь в комнату с чашкой кофе.

— Забыл — расстаться с Моной? Я привыкла к твоим сюрпризам, но это уже ни в какие ворота не лезет…

Ц. прикидывал, насколько серьезна опасность, таящаяся в этом разговоре; потом, помедлив, сказал:

— Кажется, я просто трусил… и сказать тебе

— тоже трусил. После того как ты порвала с Герхардом, я чувствовал, что обязан… что меня торопят сделать так же.

— Я тебя не торопила, я ни словом ни заикнулась.

— Да, это правда…

— Но ведь ты же говорил, что сделал это… чуть не плакал от боли расставания!

— Быть того не может! Неужто плакал?!

— Ты довольно убедительно пересказал, как вы расставались. И я, конечно, попалась на твою удочку, у тебя был такой потрясенный вид, все было очень правдоподобно. Ты чуть не прослезился… пара слезинок уж точно скатилась…

Ц. молчал.

— А ведь можно объяснить все и по-другому, — сказала Гедда. — Просто ты удерживал за собой тыл на случай возвращения. Ты ведь так и не решил, что будешь делать, когда виза кончится. Может, уйдешь от меня и прямиком — к Моне. Сохранял для себя и такую возможность. Очень практично…

— Но теперь ты решила за меня, — сказал Ц. — Теперь я точно остаюсь…

— Неужели ты думаешь, что я еще придаю этому значение?

— Я не знаю…

— Ты полгода морочил мне голову, обманывал почти беспрерывно…

— Я не хотел тебя обманывать!

— Мне все равно, возвращаешься ты в Лейпциг или нет. Мне безразлично, что ты решишь. Останешься или уедешь. Я и без тебя справлюсь… — Теперь уже в Геддиных глазах стояли слезы.

Ц. в ужасе схватил было ее руку, но она ударила его по пальцам.

— Решение принято, — сказал он. — Я остаюсь. Рада ты этому или нет. Я и без тебя все равно бы остался. В ГДР мне уже не жизнь…

— А то, что у тебя здесь, ты называешь жизнью?

— Мне все равно, как это называется.

— Вот и мне тоже становится все равно. Уже *стало* все равно! — сказала Гедда. — Я предпочла бы закончить этот разговор.

Перед уходом он попытался обнять Гедду, но она не позволила. Придя домой, он снова набрал ее номер: на февраль и март он подписал три договора на чтения, и все в городах ФРГ. Разве это не доказывает того, что у него никогда и в мыслях не было возвращаться?

— Может, ты просто забыл, где собираешься быть в это время, — отозвалась Гедда.

Он сказал правду: на февраль и март были запланированы чтения, числа значились в календаре; об обеих датах он договаривался осенью, о визовом рубеже даже не вспомнил. В почте, сложенной стопкой на кухонном столе, оказалось письмо из одного американского университета: в середине апреля его приглашали в США с докладом и чтениями; он тотчас сел за машинку и ответил согласием. Он вовсе не был уверен, что хочет в Америку, насколько он себя знает, его скорее страшат подобные мероприятия — но хотелось закрепиться, иметь обязательства, удерживающие на Западе. Вблизи от Гедды…

Неужели он и впрямь такой лгун, каким сейчас выглядит? Он сидел в своем «кабинете» за столом, служившим ему письменным; во дворе под окном переругивались гончие соседского мясника. Песье отродье завывало пронзительно, словно свора Церберов; они грызлись и визжали, уже неспособные сторожить врата адовы. Не выдержав визга, Ц. спустился на улицу… Неужели же он и впрямь лгун? Он сидел на одной из скамеек, расставленных вкруг площади; моросило мелким дождем, зарядившим с самого начала декабря;

в гравии под ногами как будто шелестела пивной пеной жидкая атмосфера. То и дело его сотрясали приступы хохота. Выставив ладонь лодочкой, он прикрывал сигарету от сырости, стекавшей грязными струйками по лицу; сверху перекатывались невидимые застоявшиеся небеса, бесстыдно исходили мочой зараженные тучи…

Хотеть любить… и не уметь, разве не от этого неизбежно превращаешься в хронического лгуна? Отчаянно лицедействовать, разыгрывая любовь, ни на секунду не забывая, что не наделен этой способностью? Не уметь любить — и все-таки прирастать к женщине всеми фибрами, тем самым мужчина становится живым воплощением *лжи*. Он целиком составлен из *лжи* и при этом знает, что без женщины, которую любит такой жалкой любовью, умрет…

Он снова сотрясся в приступе хохота; заметив, что напротив стоит в обнимку под зонтиком парочка, попытался взять себя в руки. Совсем юная парочка, они целовались, загораживаясь от него зонтиком. Он отвел глаза: пожалуй, в сцене было что-то пошловатое — и стал смотреть в другую сторону. — Когда это было с ним в первый раз? Определенно ему шло уже к тридцати; бывшие однокашники давно толкали перед собой по го-

роду детские колясочки. Он же годами забивался в углы, в норы, все пытался писать с вечным страхом в затылке: как бы кто не подглядел. И чуть ли не каждый день занимался спортом, тренировал свое тело, пока оно не стало почти идеальным… нелюбимое тело, никогда не желавшее болеть, объект нарциссической мнительности. Но еще ни разу ни с кем не целовался… при этой мысли накатывал тупой стыд. Тем самым он лишал себя, понятное дело, всякого экзистенциального смысла. А вдобавок к тому еще и вообразил, будто его тело не желает стареть; оно и не могло стареть — живому трупу стареть не дано! Да, он постоянно носил в себе стыдное чувство, что он жутковатый сомнамбулический труп, постыдный анахронизм: только бы не заметили, что он давно мертв. Вот уже долгие годы он сознавал в глубине души, что продолжать такое существование, вообще говоря, бессмысленно. Зачем жить, если внутри — безвременная пустыня упущенного, которой никогда не пересечь, из которой не выбраться…

Порой он сближался с женщиной, атаковал из своей пустыни, утаскивал в свое берберское житье. Какое-то время — около года, если затянется, — не давал ей роздыху своей ненасытностью, потом пустыня снова брала верх. В каждой жен-

щине он словно искал тот вкус жизни, к которому ни в детстве, ни в отрочестве, ни в те бесконечные годы, что именуют «юностью», ни разу и близко не подошел. Все эти годы казались ему нескончаемой мукой, существованием в заколоченном гробу… снаружи светло, из щелей и трещин веет горьковато-цветущим благоуханием времен года, а вокруг тебя — неподвижный мрак.

С женщинами он впадал в состояние безумной гонки (понимая, что большинство из них это лишь отпугнет): нужно враз нагнать все упущенное; в каждой видел последний шанс победить в борьбе против своей бессмысленности… последний шанс, прежде чем положат на обе лопатки, прежде чем судьба задушит вконец… и в ту же секунду — пасовал. Еще продолжая любить, уже сдавался перед невозможностью любви, подпадая под беспощадный диктат этой невозможности. Ни одной из упущенных любовей не нагнать, все кончено… нельзя же начать жизнь сначала!

И с этим чувством отчаяния он вжимался лицом в женское лоно, силясь отведать настой… настой женского, настой природы, вкус жизни, запах земли. Силясь открыть, познать до конца существо женского сладострастия, испить, поглотить его ток, узнать подлинный запах женщины,

чуждый, как атмосфера далекого Млечного Пути. Как можно глубже стараясь проникнуть ртом в ее отверстия, тонкая уздечка за нижним рядом зубов, на которой крепился его слишком короткий язык, постоянно рвалась… все было тщетно, все кончено. В каком-то паническом потерянном вожделении пытался он вычерпать неведомое, эти пресные неотвязные запахи гари, сладковато-горькие жидкости и вещества, загадочные цвета, менявшиеся под наплывами чувств, весь этот организм, что никогда не станет ему доступен. А когда наконец, отпрянув, выныривал из топи между раздвинутых ляжек, со слипшимися волосами, докрасна натертым лицом новорожденного — воды первоначала щиплют глаза, по щекам текут слезы, — то видел расплывчатый, широко разинутый зев, который словно бы смеялся над ним, и то был смех недостижимой свободы…

Он сидел на скамейке весь размокший, когда же наконец от нее оторвался, почудилось, будто тело его расплывается, — дождь превратил его в груду холодного мяса с налипшим слоем отяжелевшего от сырости, пропахшего пивом текстиля. Подойдя к площади Шиллера, он обнаружил, что в Геддиных окнах темно… дело известное: часами ходить в ночи, высматривать освещенное

окно. Эти светящиеся прямоугольники на черном заднике ночи издавна были предметом его томления… знать бы, что происходит за ними? Что творилось за освещенными окнами квартиры в городишке М. во времена его детства — он хорошо помнил. Ссоры, вспышки гнева, потасовки, все против всех, с оружием и врукопашную под ор и визг; в конце он всегда бывал тем, кто от пинка летел в угол и против кого все они объединялись. В этих же окнах, куда он заглядывал с улицы, абажуры не раскачивались, стулья и кочерги не взлетали над головами, там царил покой…

Правда, он знал, что зачастую этот покой обманчив. Но знал и то, что в минуту слабости охотно променял бы свое внутреннее состояние на обман. Да и разве в этом столетии без вранья обойдешься?

Он сам, помнится, назвал как-то раз двадцатый век веком вранья. Весь этот век, сказал он Гедде, это один сплошной поезд вранья; в форме вранья, нагруженный враньем, поезд ехал вперед, проезжал, уезжал, ведомый локомотивом, символом правящей власти… и оставшиеся годы этого века будет продолжать ехать так же. Этот поезд стоял на рельсах вранья о прогрессе. И тащил по стране скотские вагоны, набитые людьми,

потерявшими человеческий облик, тащил в Освенцим, Воркуту, Майданек, на Магадан под небом паутинной лжи.

Этот век — изолгавшийся. Заблуждений, как в прочие столетия, не было — сознательная ложь, вот и все. История человечества будто бы забуксовала на гигантской свалке вранья. Все правительства этого века правили с помощью лжи; банды, клики и секты политиков, идеологов и партийных бонз строили власть на лжи; слово *власть*, из чьей бы глотки ни вырывалось, в какие бы идеологические оттенки ни красилось, всегда подразумевало власть лжи. Воздух этого века отравлен враньем, города больны враньем, земля гниет от вранья. Если бы для существования века нужна была правда, то двадцатого просто не было бы…

— И это дает тебе основания так же усиленно врать? — спросила Гедда.

Он не нашелся что ответить.

Во многих окнах на Кобергерштрассе уже пылали звезды и электрические гирлянды рождественской лжи… он дважды прошел всю улицу взад и вперед; ни дать ни взять романный герой, брошенный создателем на произвол судьбы. Сочинитель оставил героя на улице, где-то между

началом и концом, не знал, что с ним делать; персонаж уже потихонечку подгнивал в многословии авторских заключений. Сочтя своего героя за скучную креатуру, Бог в конце концов от него отказался…

Он в очередной раз приблизился к площади Шиллера; дождь лил как из ведра. Окна ее квартиры там, наверху, темны… позвонить еще раз? Нет, не имеет смысла; единственное, что можно сделать, — это первым же утренним поездом поехать на Восток…

В этом веке романного героя постиг печальный конец, развивал свою мысль Ц., развернувшись и шагая обратно по Кобергерштрассе. Проявилось это примерно с середины века, когда узнали о депортациях, когда появились снимки набитых людьми скотских вагонов, когда суетливо и зловеще побежали по экранам первые хроники с горами трупов, когда получила огласку скрытая за враньем реальность. Жизнь романного героя, его страдания и душевные смуты, его бесприютность, счастье и беды — все оказалось ничтожно, глупо и пошло на фоне бывших лагерных узников; истории романных героев теперь гроша ломаного не стоили, даже удара по клавишам пишущей машинки не стоили — они превратились

в отходы для недоумков. Современные эпопеи для тех, кто хочет нормальных историй из нормальной жизни, — это телевизионные мыльные оперы, для романов же даже самая дешевая бумага уже транжирство. Бог с ужасом отвернул свой лик от макулатуры романной жизни, время от времени указывая перстом на тех, кто пережил Освенцим. Мыслящие люди швыряли книжки в помойку, букинисты больше не принимали липкое барахло. С тех пор как появились сообщения о Гулаге (на которых издательства, кстати сказать, сделали гигантские деньги), с невинностью повествователя было навсегда покончено. Пресловутая невинность повествователя сделалась недугом, перещеголявшим все формы старческого слабоумия. Приехав на Запад, Ц. долго дивился отвращению, с которым люди относятся здесь ко всему, что вписывается в понятие «серьезной литературы», — в стране, где рассказали правду о концлагерях, иначе и быть не могло. И ничего удивительного, что целая когорта литераторов (становившаяся все более многочисленной) двинулась в поход против неизбывного присутствия, против господства темы Освенцима: выступали они, по сути, за то, чтобы люди снова читали их глупости…

Если дело дойдет до перевозки в ГДР его книг… между прочим, надо бы озаботиться этой проблемой, организовать такое — это целое дело… то для него, подумал Ц., речь может идти только о двух ящиках с надписью *Холокост amp; Гулаг…*

Он стоял перед домом на Кобергерштрассе, где в одном окне, наподобие эркера, все еще горел свет. Может ли он позвонить в дверь той женщины — в таком состоянии духа, в таком костюме… по всему видно, что катится под откос; заметно пьющий, смятенный, невыспавшийся, вдобавок немыт и который день не держал в руках бритвы; шмотки так отяжелели от пропитавшейся пивным духом сырости, что едва не сползают с тела; стоит остановиться, как натекает лужа. К тому же непонятно, о чем с ней говорить… он отчетливо помнил свои отчаянные попытки подладиться под условия беседы, когда впервые зашел к ней в гости. Неужели ему нравится в этом скучном Нюрнберге, спросила она. При случае надо бы показать ему фотографии Гонконга, она там недавно побывала. Навещала дочь, которой еще двадцати не было, когда она уехала к своему отцу — бывшему ее мужу, они развелись. Он живет в Гонконге. И сейчас она подумывает, не переселиться ли туда же, в любом случае в скором

времени снова поедет в гости, хотя это, конечно, дорогое удовольствие.

Ц. сидел в ярко освещенной гостиной среди удобной и, что называется, современной обстановки; на журнальном столике высотой по колено — чашка кофе и стопка цветных фотографий, на которых словно запечатлен мир из научной фантастики, с огромными азиатскими иероглифами, выведенными рекламными вывесками; женщина брала из стопки и показывала одну фотографию за другой.

— Я не слишком быстро? — спросила она.

«Побыстрей бы», — подумал он, когда она замедлила темп.

— Отличные снимки, — похвалил Ц.; он заметил, как странно-безжизненно звучит его голос.

— У вас такой чистый саксонский, — сказала она. — Приятно здесь такое слышать.

Всякий раз, когда произносились подобные фразы, в нем что-то тускнело, должно быть это печень или селезенка; на лице, по счастью, бледность не выступала. Он решил говорить как можно меньше, чтобы не давать повода для таких комплиментов, она же бодро продолжала:

— Знаете, мои родители тоже оттуда. Но это еще до войны было. Я тогда еще и не родилась…

Ц. стоило больших трудов просидеть час, уйти раньше казалось невежливо; придя домой, он выяснил, что час он таки не высидел, пробыл от силы минут пятьдесят. Он представил, как звонит ей по телефону: нельзя ли еще разок зайти, рассмотреть фотографии поподробнее. Несколько снимков его и вправду заинтересовали: ночные увеселительные кварталы Гонконга, взрывающиеся в безумном сверкании разноцветных огней. «Мне бы хотелось еще раз взглянуть вот на эти три фотографии…» — повернулся бы у него язык сказать такое? Комментируя снимки, она сообщила, что вокруг этих ярких красочных картинок — скверные районы, наркодилеры, детская проституция и всякое такое… «Да, — кивнул Ц. — Об этом, конечно, нельзя забывать». Ц. знал все это, однако снимками все же заинтересовался, только не посмел обнаружить свой интерес. Он успел разглядеть, что в фойе при входе в заведения известного рода намалеваны или прикреплены к стенам огромные изображения женщин в непристойных позах, с оголенным низом и широко раздвинутыми ногами. Соблазнительный поп-артовский кич; в месте соединения ляжек прорезаны отверстия, проломы, через которые можно заглядывать в неведомое нутро; и видно,

как перед изображениями толпятся мужчины, они льнут к отверстиям, заглядывают внутрь. Стройные, изящные китайские мужчины в темных костюмах, улыбающиеся друг другу улыбкой столь же откровенной, сколь и презрительной.

На фотографии он глянул лишь краем глаза; почему-то его обуревало суетливое нетерпение. Ц. сидел за журнальным столиком и пил свой кофе; он чувствовал, что решительно не создан для изделий текстильной промышленности: стоит протянуть руку за чашкой, как рубашка натягивается и в промежутках между пуговицами открывается майка, туго облепившая живот, выдавливаемый тугим ремнем из тесных джинсов. Чем дольше сидел он в этой позе, тем неуютнее себя чувствовал, зажатый в тисках снаряжения, которому тело тщетно сопротивлялось; ботинки, купленные намедни на Брайте-Гассе — после многочасовых нерешительных блужданий по переполненным товаром обувным магазинам свободного рынка (у него разболелись ноги, и боль не прошла до сих пор), — жали наподобие испанского сапога, подошвы горели; он не мог сидеть смирно, все перебирал ногами, будто сию минуту готов был ринуться в бегство. Она же то и дело вставала, чтобы подлить ему кофе; он

глядел (пытаясь придать взгляду скромность), как она оправляет юбку, туго обтягивающую бедра и отчетливо мощные ляжки; двигалась она со сдержанным кокетством — исключительно грациозная смесь… «Вы, похоже, не знаете, куда бы спрятать соблазнительный зад?» — подумал он. Когда он встал и начал прощаться — уход явно показался ей внезапным, — она чуть побледнела, сидя в своем мягком глубоком кресле; до дверей проводила со скорбной улыбкой.

* * *

Дома он стянул с тела тряпье, налил стакан шнапса. Провонявшие пивом и бензином, шмотки лежали на ковролине прелой кучкой какой-то неопределенной, враждебной человеку отсыревшей материи. Он приволок в туалет стул, встал на него и погляделся в зеркало, подвешенное над раковиной… и вспомнил, как в детстве, когда ему было двенадцать-тринадцать, он разглядывал себя в зеркале материнской спальни. От тела пошли испарения, зеркало на пару секунд запотело… а когда прояснилось, он увидел свое отражение: гипнотизировать конец было излишне, он сам униженно прятался в дебрях срамных волос. В зеркале показался зябнущий бе-

лесый мужской торс, без пяти минут старческий — влажное, липкое, ненужное тело, оплывшее, презираемое, пошлое, вечная мишень ненависти и пренебрежения, исходящего от Бога и мира. То ли от выпитого, то ли от омерзения Ц. качнуло на стуле, пришлось присесть; он осторожно опустился на спинку стула, уперев локти в колени. Теперь в зеркале отразилось лицо. Нет, не его. Чужое негодующее лицо — припертая к стенке, искаженная страхом, тупая физиономия боксера, который лежит на матах ринга, не зная, куда бы ему забиться.

Он лежал на матрасе, заменявшем ему постель, все двери в квартире стояли нараспашку, сквозь приоткрытое окно «кабинета» доносился шум дождя. Церберы выли редко, скулеж потонул в отравленных струях, только нет-нет да и поднимется острый протяжный звук, буравчиком проникающий в нервы, — озвучание его страха. Съездить еще раз на Восток? Еще несколько дней его виза действительна! Нет, он останется здесь до последнего. Если и есть еще тема — вдруг он когда-нибудь снова начнет писать! — то в ГДР ее искать не приходится. Там все вымерло, кончен бал. Если какая-то атмосфера и может сподвигнуть его на писание, то это дух автобанов, где

правит Шикльгрубер, где западный немец — в своей стихии. И пешеходные улицы наподобие Брайте-Гассе, где персонажей достанет на то, чтобы удовлетворить любые желания литературной критики.

В полусне он увидел себя стоящим посреди Брайте-Гассе, между двумя книжными ящиками, картон исцарапан, расходится по краям, книги едва не вываливаются наружу; вокруг кипит жизнь, озаренная послеполуденным солнцем, непрерывное богоугодное празднество *Shopping amp; Fun.* Он стоит так уже давно, вид у него измотанный. Небритый, немытый, засаленный… чего он ждет? Отправки. Но никто его не замечает; справа и слева бурлит революция потребителя, абсолютный дух времени важно, как на ходулях, шагает сквозь солнечную размазню. Да он и за тысячу лет не доберется до ГДР, размышляет Ц… Брайте-Гассе в Нюрнберге — вот пуп земли (а еще — Кенигштрассе в Штутгарте, Цайл во Франкфурте, Тауэнтцин в Берлине, а еще — подземные торговые центры под вокзалами). Ибо пуп земли — это место перед входом в Элизиум, где встречаются сияющие покупатель и продавец…

Над всеми этими входами эффектными буквами выведено: *Шопинг освобождает…*

Входов потому так много, что нужно не только войти, но и выйти. И людские потоки втекают внутрь и вытекают наружу и текут в неустанном круговороте купли-продажи по пешеходной зоне, все дальше и дальше, ощущая, что их снимают на пленку, с обоих концов Брайте-Гассе, снимают на телекамеры. И потому они так сияют, сияют под залпами ликования, взлетающими над Брайте-Гассе и изливающимися вниз. И у каждого на груди или на спине — фирменный логотип, вензель всемирно известной марки, бойкий лозунг фирмы-изготовителя: *Битте айн «Бит»*... Да уж, разгуливают вроде ходячей рекламы — добились, чего хотели. Обрели наконец-то имена. Капитализм добился, чего хотел, размышляет Ц. А чтобы подтвердить свою идентичность, понимает Ц., еще и номера нацепили. До него долетают обрывки их разговоров. «Эге-ге-гей! — вопит „фольксваген" № 116611. — Такую вещь только что прикупил по дешевке!» — «Подумаешь — *вещь!* — отзывается „мицубиси-моторс" № 501134. — Я вон — две уже прикупил! А жена моя — три! И всё по дешевке!» — «Так-таки три? — сомневается „фольксваген" № 116611. — Быть такого не может... и где ж это столько дают?» — «Чесслово, дают! — встревает „Найк" № 174517

(тот же самый номер, что был выжжен на левой руке Примо Леви, отмечает мысленно Ц.) — Это недалеко, вон там, сто метров пройдешь, и дадут. Мы там четыре вещи купили, и всё по дешевке!» — «Кромбахер» № 54123, услышав это, замирает и бледнеет: «Где?! Ради Бога, скажите где!» «Майкрософт» № 79669 слегка поддерживает ослабевшего, незаметно тычась остренькой грудкой ему под мышку. Помахивая рукой, проходит, сияя «байер-АГ» № 1000200: «Четыре, пять, шесть покупок! Всё по дешевке!»…

Проснувшись назавтра, он увидел, что небо слегка прояснилось, пожалуй, в комнату даже светил крохотный солнечный лучик. Как я раньше писал… что я раньше писал? Обычно это был первый вопрос, который он задавал себе, просыпаясь и с сожалением отмечая, что заснуть больше уже не удастся. Что хочешь не хочешь, а иди в новый день. Гедда однажды сказала, что во сне он как будто борется с гнетущими незримыми силами. Может, если бы он уяснил для себя, с чем воюет во сне, стало бы легче, сказала Гедда. Поразмыслив, Ц. пришел к выводу, что борется, собственно, с пробуждением. Яростно сопротивляется пробуждению в жизнь, которой совсем не знает и которую ощущает как нечто

угрожающее, временное, зависимое от всякого случайного влияния, лишенное истинности. Пока тебя прикрывает тонкая пленка сна, ты защищен, твое одиночество не предается огласке, ты не чувствуешь окружающего молчания…

Перестав писать, он оказался беззащитен против этой жизни. Хуже того, теперь уже даже самому себе не удавалось привести в качестве оправдания то, что он писал до визы… за что удостоился признания критики, получил литературные премии и стипендию, благодаря которой приехал на Запад. Нет, самооценка свелась здесь к нулю; написанные книги вдруг показались ему частью трусливого компромисса с неведомым монстром, который и был его жизнью; пактом с той тварью, что даже во сне неотвязно идет по пятам. Тексты свои он, положим, отвоевал, но тварь коварно играет с ним: дозволила кое-что при условии, что он не будет пытаться ее убить. И он в самом деле этого избегает… не прикасается к твари, даже в глаза поглядеть не смеет. Давая ей тем самым возможность в любой момент напасть на него.

Неудивительно, что он вдруг вспомнил те ранние годы, когда писал истории и стихи только для себя. Тетради, исписанные еще ученическим

почерком, он большей частью отправил в огонь (разве что изредка в хаотичной квартире матери в городе М. всплывет то одна, то другая); он сжег их в какой-то момент, устыдившись: тетради были полны слепых неутоленных страстей, а все вокруг велело держать страдания в тайне… ныне же он устыдился опубликованных книг и с превеликой охотой сжег бы их тоже. Но это несбыточно, книги опубликованы… сделались жертвой твари, и та похваляется ими…

Что же это за тварь? Она его жизнь: жизнь без истоков, существование без истории…

Над этим смеются, говорят: не бывает жизни без истоков!

Ответить на это нечего; вы совершенно правы, у меня нет истоков и жизни тоже, думал он.

Пустота выдохнула меня и, выдворив вон, уселась, невидимая, на задние лапы, зевает, бестия, в любую минуту может вдохнуть обратно. А я за ней следовал (исполнял перед ней свой танец)… кое-какие страницы, кое-какие отображения своего эстетического зверского величия она мне изволила разрешить… несколько молний дальнего счастья, вспыхнувших в пустоте. Все это я перенес на бумагу, а после сжег в печи, в бурой от копоти кухне, или потом сжег на публике. Так

что я и впрямь был человеком, постоянно имевшим дело с огнем, и оттого во мне такая сушь и колоссальная жажда…

Однажды он сказал Гедде, что заинтересовался временем, только когда начал писать. Когда писал для себя и, возможно, для какого-то далекого неведомого создания. Гедда, которая начала писать много позже него и потому все про это знала, сказала: ни в коем случае не бросай! Она всегда подозревала, что для него это время скрыто во мраке. К тому же он нередко жалуется: каких-де только сумбурных догадок о нем не строят. Говорит, что его не столько упреки критики задевают, сколько раздражают ее мыслительные схемы — *возмутительно примитивные.* Только я, к сожалению, не знаю, с чего начать, откликнулся он, такое чувство, будто я начал писать задолго до того, как стал задумываться о своей жизни…

Может, ему уже сейчас начать писать о времени, связанном с визой, спросила Гедда. Как-то раз она случайно — когда заходила, чтобы заменить сломанный телефон, — увидела на письменном столе тетрадь, где первой строчкой стоял заголовок: «Виза». Может, если оттолкнуться от этого времени, то вспомнится забытое прошлое. Может, ты сейчас подходишь к границе, когда

для тебя станет потребностью вспомнить себя, сказала она.

На это он не ответил… он знал, почему вывел тот заголовок, а текст под ним так и не начал. Пустая тетрадь с заголовком лежала на столе давно, где-то с краю, прикрытая бумагами и письменными принадлежностями. Он было забыл о ней, только недавно вытащил и раскрыл… заголовок же он записал в апреле, после первой поездки в Вену; в отношениях с Геддой тогда возникали первые сбои.

В ту пору начала Гедда спрашивать, что он планирует делать, когда закончится срок визы. Он уклонялся от ответов. Думать об этом за три четверти года до события — как-то преждевременно, говорил он. Он жил тогда в Ханау, она предложила переехать в Нюрнберг; сказала, что у Герхарда больше оставаться не хочет, подыщет себе другую квартиру. Вскоре после того спросила, не хочет ли он поселиться с ней — хоть в Нюрнберге, хоть еще где-нибудь. Ц. затруднялся с решением, бесконечно колебался, не желая себя связывать… да и к тому же представления не имел, чем закончится его временный статус, когда истечет срок визы.

Как же он умудрился ни разу не задаться вопро-

сом: что будет с Геддой, если в конце этого года он решит вернуться?

Нет, он размышлял только о конце *своей* временной остановки… ни разу не удосужился подумать о том, что давно втянул в это состояние и Гедду. Прочтя написанный его рукой заголовок — «Виза», — она, безусловно, решила, что время это для него, по существу, закончилось. Она знала — он сам объяснил когда-то, — что все его тексты ретроспективны, история должна завершиться, прежде чем он сумеет перенести ее на бумагу…

Он попытался припомнить, какое было у Гедды лицо, когда она спросила о пустой тетради… искаженное страхом, понял он вдруг. Живо представив себе Геддин страх, он вскочил с места, забегал по комнатам. И кажется, смятение в Геддиных глазах нарастало по мере того, как приближался конец года… он тогда ежесекундно помнил забыть об этом исполненном страхом, испытующем взгляде; смотреть ей в лицо он уже не мог, чувствовал ее взгляд затылком. Только в пивных удавалось выбить из головы мысли об этом взгляде; он обвинял себя в том, что разрушил Геддину жизнь (по крайней мере какую-то часть), с Герхардом она была в безопасности, а тут он возьми да вмешайся, это ужасно… ненависть

к себе топилась лишь в потоках спиртного.

Он — типичный продукт ГДР, сказал себе Ц., физически и психически, вплоть до нервных стволов, мозговых клеток и бессознательных реакций, он — детище того временного решения, что именуется ГДР… и жить с этим невозможно! А поскольку жить с этим невозможно, то всякий, кто попадается на пути, насильно втягивается в не-жизнь. Он один из тех временных, черновых персонажей, из которых состоит вся ГДР, без которых этой страны никогда бы не было; эти люди кичатся своей *самостью* и самобытностью — а из рыла правительства этой страны вечным текстовым пузырем свешивается словечко «суверенитет». Уж чего-чего, а суверенности в них точно нет. Даже решись я остаться на Западе, думал Ц., все равно, наверное, уже поздно…

По телефону он сказал Гедде: у него в голове такая фантазия, будто виза не ограничивается предписанным годом. Объяснить это непросто, но, может, для меня это случай оглянуться на прошлое… вернись я назад — снова водворился бы в прошлом. А так могу навещать свое прошлое, забредать туда, выезжать на время. Такое чувство, как будто только сейчас мне дано разрешение…

— А справишься ли ты с тем, что найдешь в

своем прошлом? — спросила Гедда.

Вопрос показался Ц. странным.

— Пока не знаю. Я как будто с горы вниз смотрю… с откоса, вернее сказать. В детстве были такие откосы, такие отвалы. Темнеет, я не вижу, что подо мной, но знаю, что оно как-то со мной связано, в этом нет сомнений. Точно знаю, что, когда спущусь, меня там ждет что-то неприятное, даже ужасное, зловещее. Я боюсь того, что мне предстоит увидеть, боюсь не вернуться назад…

— Временность — она оттуда, снизу? — спросила Гедда.

Во всяком случае, там нет ничего прочного, ничего, за что можно держаться, на чем строить, там только одичание, ложь и бегство, единственное достоверное — это утраты. Там царит страшное запустение.

— Странный сон, — сказала она.

Так что же это за время, когда он писал для себя? Помнил он плохо, все перекрывал механизм вытеснения.

— Я же и раньше писал, с детства, причем всегда втайне, — сказал он Гедде. — А писание втайне — это само по себе жутковатый образ. В детстве я был хилым недоразвитым адвокатом страха… страха перед молчанием. Ад этого детства был

бессловесным, немым, его отличительным свойством было молчание. И этот молчащий ад я стал наполнять словами… малюсенькой чайной ложечкой, черпалкой из игрушечного сервиза, вполовину меньше обычной, стал закидывать в гигантский пустой цех молчания слова… экое разочарование! И мне кажется, будто на самом деле я скрывал писание от самого себя. Потом пошел в рабочие и все это время постоянно пытался тайком писать… и, сдается мне, эти годы были временем сплошного вранья…

Иногда он задумывался, в действительности ли призван для писательства… такое случалось прочесть — призванием писатели обычно оправдывали право на существование самых что ни на есть скучнейших книжек. Но его-то кто призвал, он ведь писал всегда (а, может, по рассеянности просто и не расслышал зова), писал в детской досаде, в раздражении на себя, под гнетом бесконечных послеполуденных часов, в опустелой летней квартире. Слипались глаза, утомленные поскрипыванием пера по сухой бумаге, а он все писал и плыл, уносимый медленным воздушным потоком, как будто подкрашенным ввечеру ушедшими солнцами.

Однажды Ц. пришлось внезапно из этого забы-

тья очнуться. Когда подошло к концу трехлетнее обучение, он неожиданно оказался в мире, откуда не убежать. Он уже не помнил, что именно заставило его встрепенуться. Вокруг него гудел, словно двинулась маршем колонна броневиков, гигантский механический цех. Он понял, что находится на промышленном фронте. Это важнейший фронт в борьбе государства против своей погибели, отсюда не выбраться, целым и невредимым уж точно не выбраться, менять можно только участки фронта. Вскидывая глаза, он видел, что стоит как вкопанный перед мощным серовато-зеленым горизонтальным сверлильным станком: какое-то время (месяц или два) ему предстояло присутствовать тут и участвовать во всех технологических операциях, покуда не наберется премудрости производства со сдельной оплатой и не включится в непростую структуру взаимообусловленных процессов — чтобы потом самому встать за такой же станок, для начала поменьше. Он видел человека, обслуживающего машину: жилистый мужик, разменял уже пятый десяток, морщинистое закрытое лицо, из-под бровей так и зыркают маленькие колючие глаза, следя за работой станка. Пять раз на дню мужик толкал его в плечо рукояткой молота, тычки становились

все чаще и жестче: прислонившись к рабочему столу станка, Ц. то и дело засыпал. Завтраки и обеды они жевали, не прерывая хода машины; держа станок в поле зрения, сидели на скамье между полками с инструментами; Ц. пил только лимонад, мужик — пиво (что не разрешалось) и заедал его бутербродами с колбасой; на мягком светлом срезе булки проступали черные отпечатки пальцев, смесь чугунной пыли и смазочных масел; Ц. смотрел, как тот с аппетитом доедает свой бутерброд, ничуть не смущаясь черными пятнами, и думал про себя: «Хоть бы черный хлеб ел, что ли». В скором времени уже и Ц. жевал такие бутерброды с черными жирными пятнами. Все восемь часов мужик не произносил ни слова, Ц. тоже молчал, без слов совершал немногочисленные движения, мастер отдавал приказы поворотом головы или взглядом своих злых глаз. Как-то после очередного тычка Ц. разлепил глаза и повернулся к мастеру — он не знал, какое выражение было у него на лице, но увидел, что тот покрылся мертвенной бледностью и в страхе попятился. До конца смены мастер забился куда-то за машину; назавтра Ц. перевели на самый маленький сверлильный станок, с краю цеха, где изготавливались бесконечные однообразные

серии простых крошечных деталек — рабский труд с минимальной временной нормой, при которой восемь часов работаешь не разгибая спины. Впоследствии он ужаснулся: он впервые понял, что был на волосок от убийства.

Три года он обучался той же профессии, что и молчаливый мастер с морщинистым лицом желудочного больного: теперь, став *токарем,* он влился в элиту квалифицированных рабочих механического цеха завода. Как он только умудрился овладеть этим ремеслом? Из трехлетнего обучения в памяти почти ничего не осталось… разве только стычки с мастерами, когда его публично клеймили позором. По сути дела, он учился в ту пору только тому, как становиться все более одиноким… этот путь начался еще в детстве. В годы учения он продолжал свой путь в одиночество, не оглядываясь назад.

Впрочем, состояние это невозможно было назвать подлинным его именем, само слово *одиночество* наполняло Ц. ужасом. Он срочно должен начать войну против этого состояния, враждебного жизни, враждебного человеку. Когда одиночество достигало сознания, он начинал с ним сражение — против себя, — вероятно, пожизненное сражение, в котором изначально

защищал безнадежное дело…

Все годы учения его, помнится, преследовал страх безумия. В книгах, которые он читал, то и дело всплывала тема безумия… и Ц. постоянно мерещилось, что он наблюдает в себе его симптомы. Обнаруживая в себе эти приметы безумия, он испытывал известное мазохистское удовольствие, но при этом одновременно и страх. А когда эти симптомы вдруг исчезали — снова боялся… испытывал страх, значит, он не вправе претендовать на что-либо иное, кроме предначертанной ему жизни заурядного работяги. Но симптомы возвращались снова и снова; их приходилось держать под контролем: никто не должен ничего заметить… он стал нелюдимым, непроницаемым, неприступным.

Учеба явилась последним этапом перед его поприщем промышленного рабочего, после чего начался ложный путь по стройкам и фабрикам, между которыми он скитался чаще вопреки желанию, нежели по доброй воле. Ложный путь одиночки сквозь орущую, круговой порукой повязанную, инстинктивно работающую массу, с которой он безуспешно пытался установить контакт. Первым делом он добился того, что его перевели подальше от сверлильного станка, не

дававшего ни минуты роздыху, к слесарям-механикам в сборочный цех, где зарплата на двести марок меньше; после долгой борьбы разрешение было получено.

Очень многое из той поры он вытеснил из сознания, память блуждала впотьмах. Пытаясь проникнуть во тьму, он моментально натыкался на пугающее чувство вины, отшатывался в испуге. Рассказывать об этом — значит говорить о времени *лжи*, объяснил он Гедде. Обстоятельства того были заложены, пожалуй, в самой атмосфере тех лет.

То было время, когда страна, в которой он жил, окончательно становилась *ГДР*, именуясь так вот уже десять лет, данная структура все еще выступала как часть Германии, постепенно эта функция ослабевала, пока не угасла вовсе: в ознаменование этого страну замуровали. В ту пору утверждались основы его писательства: процесс не просто сопровождался, но прямо-таки пронизывался, каким-то неизъяснимым образом пропитывался *лживостью*. Изредка останавливаясь, он понимал, что вся его жизнь — сплошное очковтирательство, непрерывное выстраивание отвлекающих маневров, за которыми растворяется всякая истинность существования. А

поскольку правды не сыскать, придется принять за правду отвлекающие маневры. Поверить в свою же кривду, действовать по предписаниям своего же притворства; он уже и не знал, его мысли порождены вереницей фальши или основаны на далекой, затерявшейся за окольными путями правде. Вспоминались словесные канонады сталинских культурных функционеров против опальных писателей и интеллектуалов: если подобные обличения к кому-то и имели отношение, так это к нему, в его случае это было попадание в самое яблочко: он и впрямь был в ту пору не что иное, как *паразит.* Все время пребывал в отступлении, сказал Ц., все время бежал от мира, относящегося к его желанию писать безучастно, если не враждебно…

— А разве не каждому писателю такое известно, — сказала Гедда. — Разве не каждый писатель хоть однажды да подумал, что мир хочет кого угодно, только не его…

— До сих пор подозреваю, что умышленно вел себя так, не имея на то никакого права, — объяснил он. — Быть может, в этом не было необходимости, быть может, отступать было не нужно.

Трудно описать, как он снова и снова искал

выхода из засеки обманов и хитростей, в которую сам же себя вовлекал… вернуться оттуда казалось возможным только с помощью вранья.

— Снова вранье?

Должно быть, в свои тогдашние восемнадцать-девятнадцать лет он и не мог иначе. Другое дело, если б он уже тогда осознавал свое писательство. Но разве такое по силам? Ему бы ощутить в себе что-то вроде миссии, но разве же это возможно с его-то происхождением. Как бы он вдруг объяснил свою неуместность на этом заводе? И что он, вообще говоря, положил себе стать поэтом? Пойми сперва, что в тебе это есть. Как узнать, чем измерить?

Очнувшись в грохочущем индустриальном цеху, он заметил, что не может продолжать свое путешествие. Путешествие в мыслях, во снах, путешествие одинокого ребенка, начавшееся много лет назад…

Он воочию видел, как, бывало, часами листал небольшую литературную энциклопедию, содержавшую биографии самых разных писателей и поэтов. Там были страницы, сплошь заполненные паспортного формата портретами прославленных сочинителей. Ни одно из лиц не обнаруживало ни малейшего сходства с его

физиономией. Ничто из того, что он почитал неотъемлемым свойством поэта, не было — даже в самой осторожной модификации — сопоставимо с его чертами. У поэтов — высокие лбы, тонкие орлиные носы, выступающие скулы и большие, широко распахнутые глаза — прозрачные как стекло или с поволокой, в зависимости от характера творчества… у него — ничего похожего: глаза-щелочки так и зыркают из-под защитного вала, и вал этот — притворство. Ни один из недугов, вечно одолевавших поэтов, у него и не ночевал: поэты страдали чахоткой, сифилисом, избытком и нехваткой белых кровяных телец, им угрожала апоплексия и помрачение разума. У него все наоборот: в его теле сидело грубое, несокрушимое, прямо-таки беспощадное здоровье; зимой он не мерз, летом не упревал, глаза различали на доске окулиста все до мельчайших буковок, сколько раз его ставили в школе перед классом, чтобы на равномерно работающих брюшных мышцах продемонстрировать образцовую дыхательную технику. Дивились не его писательским достижениям (о них ни одна душа не ведала), а спортивным успехам, которыми он вскоре прославился в городке. Побеждал в каждом заплыве: только входил в воду, как соперник

уже бывал посрамлен; как-то раз, прозевав стартовый выстрел на гаревой дорожке городского стадиона, финишировал стометровку только вторым, с небольшим отрывом, и потом еще годы спустя горевал о том поражении; на гимнастике первым научился делать полные махи ногами на коне; когда во время учебы проводились боксерские состязания — убирал с ринга одного противника за другим, позже стал членом городской команды боксеров.

Все это только видимость правды, все это внешнее, сказал он себе. Регалии ложной жизни. Он пришел к осознанию всей своей прошлой жизни как лжи. И это осознание едва его не убило…

Все, что составляло в той прошлой жизни его самость, изматывалось, крошилось, уничтожалось, это ощущение до сих пор сохранилось в памяти. Когда какой-нибудь человек выказывал к нему интерес — о приметах симпатии и говорить не приходится, — он ничего не замечал, все внутренние антенны, могущие уловить волны такого рода, были вырваны с корнем. Всякая способность откликаться на любовь уменьшилась до нуля, все в нем настроено было на оборону, броню, баррикады, все подступы перекрывал лабиринт лжи и обмана. И все это только затем,

чтобы улучить маленький, крохотный кусок свободного времени… принадлежащий только ему излишек, которого никто не заметит, о котором никто не спросит отчета, время, когда тебе никто не мешает, когда невзначай находишь дорогу к себе, время, что отнято у восьмичасового труда, у восьмичасового досуга (когда он парализован и мертв или тщетно пытается найти себя), отнято у восьмичасового сна… забытый кусок времени, ненужный и неприметный, завалявшийся рядом с сутками… время, которое он утаскивал с промышленного фронта, похищал у холодной войны, у правительства, у самоотверженных стариков в так называемой семье, урывал у глупости, крал у армии, народной полиции, советско-германской дружбы, нерушимо сплотившихся братских народов, обнявшихся миллионов, всем сердцем жаждущих мира, время, которого не было и которое невесть откуда бралось, время, когда он бежал от Вышинского… когда мог быстро заполнить пустой лист текстом, каким-то образом извлекая его из себя.

Порой он сгоряча заявлял себе: «Я поэт!» И тут же пугался: нужны доказательства, а их-то и нет. Хорошо бы иметь сразу два доказательства: для мира и для себя… вместе они составили бы нечто

сродни доказательству существования Бога. Но такового, как известно, не существует.

А Бог отмалчивался, как отмалчивался всегда. По крайней мере не возражал, и то хорошо. На его вранье Бог, похоже, смотрел сквозь пальцы, очевидно, Он на каких-то иных весах взвешивал правду и ложь.

Вывести общий знаменатель того, что составляет сущность поэта, — задача несбыточная. Вот разве что, пожалуй, внутренняя тревога — она свойственна всем, с ней хоть раз в жизни да встретился. Даже если сиднем сидишь на месте и покидаешь свои четыре стены только в случае крайней необходимости. По такому человеку тревожность бьет особенно сильно, сопровождаясь сознанием, что уступками от нее не избавиться. Бессмысленно переезжать по примеру многих с места на место, как будто тем самым можно ответить на неизменно возвращающийся вопрос: *свободен* ли ты… *Свобода* — казалось бы, понятно, что это значит, но стоит попытаться выразить это в словах, как волшебное слово противится всякому объяснению. Как бы то ни было, это черта поэтов: им нужно быть свободными и независимыми (в каком угодно значении), чтобы вольно гнаться за вдохновением. Они все время идут за

ним по пятам, вечные путники, странники или же пешеходы на одинокой прогулке. Бесцельно, но всегда начеку, они бродят по городам или же устремляются за окраину, чтобы гулять по проселкам, покуда не затеряются в сумерках.

В своей фантазии он лелеял заветный образ, который, мнилось, никогда не забудется: догорает вечер, по хребту холма, почти голому, шагает юноша. Различим лишь его силуэт, дует сильный встречный ветер, полы пальто развеваются, юноша придерживает рукой шляпу. Так, наклонясь вперед, он взбирается выше и выше и наконец возникает на самой вершине; юноша смотрит по сторонам, смотрит вниз, в глубину, по ногам хлещут прутья оголенных кустов, клочья разорванных облаков мчатся на угасающий свет. Ц. любил описывать эту картину, с нее начинались очень многие его тексты.

Не менее часто опробовал он силы и на другом образе: в бухту вплывает вереница шлюпок, наверное, где-то в море стоит на якоре парусник. Шлюпки вплывают в полукруглую бухту и движутся к побережью; временами их силуэты словно бы растворяются, пересекая широкую полосу сверкающих бликов, отбрасываемых предзакатным солнцем, отчего море точно объ-

ято пожаром.

Видимо, где-то существовали дюжины исписанных страниц, начинающихся этими сценами. Они осели в забытых, побуревших тетрадях, которые он где-то позапрятал, а найти уже не сумел. Эти ненайденные сцены владели его фантазией, но он не знал, что с ними делать, как и с образами закатов, уже отошедших, но свет которых все еще сквозит из-под темноты.

Благодаря несокрушимому здоровью он годился на любые работы, больничный ему давали все реже, за ним закрепилась репутация симулянта… как правило, он и был таковым… поскольку он вечно норовил увильнуть от работы, за ним вели постоянную слежку, без надзора не оставляли, бригадиры давали задания, при которых не избежать проверки… он чувствовал, что кто-то все время висит на хвосте, вступал в бесплодные пререкания с мастерами и начальниками отделов, бился в хитросплетениях отговорок и лжи… на вопрос, почему он отлынивает, отвечал только враньем…

Не покриви он душой, признайся, что непрерывно занят в мыслях своими писательскими опытами, — нетрудно представить, что прозвучало бы в ответ (порой ему доводилось это

услышать): «В свободное время делай что хочешь, а в рабочее — будь любезен!» Такой ответ припирал тебя к стенке; считайся он с интересами предприятия, сам ответил бы точно так же…

А когда размышлял, почему же ему не хватает для писательства свободного времени, почему его недостаточно, выглядел лгуном в собственных глазах. Вечерами, после смены, он с легкостью заполнял одну страницу за другой; он писал в аффекте, как будто не участвуя в этом процессе… а потом сам не верил тому, что сплошным потоком, без малейшего сопротивления, излилось на бумагу. И это доказывало, что в маневрах не было необходимости, что свободного от работы времени и впрямь хватило бы.

Гонялся за каким-то пугалом огородным, за доказательством того, что он *настоящий* писатель… за ирреальной фантазией, фантомом, идеальной фигурой из прошлого. Никто бы ему не поверил, что он настоящий писатель, никто и не верил, не смог бы поверить при самом большом желании, да он и сам-то в это не верил. И все-таки чуть ли не каждый день кропал по многу страниц… хотя дело было вовсе не в написании этих страниц, просто он был лжецом…

Тексты, писавшиеся таким образом, только

усугубляли его неверие, вырастая из пустоты, которой он себя ощущал. Порывая с почвой реального мира, они воплощали, порой даже в утрированной форме, его несуществование; рудиментарное действие совершалось в вымышленной среде, где царил не то свет, не то тьма, где призрачные фигуры, поодиночке и без цели, проносились мимо друг друга по фантастическим нивам призрачного бытия, занятые не чем иным, как своим растворением. Неудивительно, что, когда он рассылал эти опусы по каким-нибудь редакциям, ему с негодованием их возвращали. И эти отказы служили очередным доказательством того, что его идея стать поэтом самонадеянна, зиждется на лабиринте вранья…

Отказы, приходившие из редакций литературных издательств ГДР, были продиктованы возмутительной леностью мысли… он очень-очень долго шел к этому выводу. Ему советовали найти нормальную работу… позже, когда он стал печататься на Западе, то же безмыслие настигло его снова, уже с другой стороны. Теперь ему ставили в заслугу, что он пошел на каторгу рабочего мира ГДР, что покорился: а ведь совет подыскать себе нормальную работу был для него тогда равносилен приглашению к самоубий-

ству. До сих пор не понятно, как он пережил это покушение на свою самость, да и пережил ли вообще, — а ему все норовят выдать бонус за «совсем не писательскую внешность» (такова основная нота западных рецензий), за отсутствие «всяческой тонкокостности, одухотворенности, не говоря уж об изнеженности»… Что за грубость, что за ненависть к интеллектуалам! Журналистка, написавшая эти строки, не могла, конечно, знать того, что он и поныне спасается бегством от жизни, заштемпелевавшей его физиономию. Невеликий его дух и до сих пор бежит из камер смертников индустрии; до сих пор порывает с жизнью, где деньги зарабатываются честным трудом…

Один вопрос так и остался без ответа: почему он не пытался более последовательно и всерьез высвободиться из тисков этой жизни, почему предпочел запутаться в лабиринте отговорок? Почему сотрудничал, почему не *бастовал?* Этот вопрос выставлял его исключительным идиотом…

Порой он ранним утром опускался на деревянную скамью между узкими одностворчатыми шкафами в душно натопленной раздевалке. Помещение опустело, какое-то время после начала

смены в раздевалке еще стоял дух полусотни рабочих, только что освободившихся здесь от остатков ночного тепла, натянувших сырое промасленное тряпье и со злым песьим урчанием спустившихся в цеха, чтобы раствориться там за своими станками и верстаками. Он остался один на верхнем этаже — схоронился, верно, в примыкающих к раздевалкам душевых; последний рабочий перед уходом выключил свет. Снизу, из цеха, еще доносилось ритмичное щелканье контрольных часов, перед которыми изогнутой длинной шеренгой выстроилось пунктуальное стадо; тем временем уже заревели первые моторы, включились станки; машинное разноголосье слилось в победоносный гул, сотрясший здание до самого основания.

Завод взревел, как будто запустили арсенал авиационных двигателей. В верхней раздевалке оставалось от прежних времен несколько окошек, смотревших в цех — бывшие фонари верхнего света, раздевалки и душевые пристроили позже, — одно из них удалось открыть; Ц. встал на скамью и глянул вниз: три цеха, отделенные друг от друга опорными пилястрами подкрановых путей. Внизу, под пыльной шапкой грохота, под облаками железной пыли и запахов смазки,

кишат производительные силы, это похоже на мнимый хаос муравьиной колонии… а он глядит на все это сверху.

Когда он слезал со скамьи, взгляд его случайно упал на висевшее на стене зеркало. Все неправда, сказал он, узнав свое растерянное лицо, все наоборот! Мир труда и прогресса, производства и экономики — все это ложь и обман. А то, что я буду писать, — это не ложь, и Ты будешь тому свидетелем, безымянный Бог!

Он вышел с завода и побрел по темному городу… в этот час на улицах не было ни души. На всех фабриках началась смена, до открытия магазинов в городе тихо, темно и пусто; зимняя предрассветная стужа остра и зла; озябнув под тонкой робой, он чувствовал, что слабеет и скоро придется бежать обратно… когда он будет красться к своему станку (чтобы согреться, стряхнуть одиночество), его поймают с поличным; снова придумывай отговорки, ври с три короба… вся его жизнь поэта строится на вранье, стихи и рассказы основаны на вранье… уже то, что он жив, — наверное, тоже вранье! И он поднял глаза к Богу, умоляя созидательную силу небес поддержать его в неправде. Призывая Бога отвернуться от видимой всеми правды, подыграть его лжи…

Морозы все не спадали, и Ц. перевели в котельную к истопникам. Пообещали, что на четыре недели, но месяц истек, а его все не возвращали в цех. Людей в кочегарке не хватало, зима затягивалась, столбик термометра как будто застыл на отметке значительно ниже нуля; при продолжительном минусе топить в обязательном трехсменном режиме приходится даже в выходные. Через какое-то время стало ясно, что в кочегарку его откомандировали потому, что в сборочном цеху уже не знали, что с ним делать. Ц. быстро смекнул, что котлы должны выдавать максимальное давление пара от трех до четырех пополуночи и работу можно начинать в половине первого; непременное условие — хорошее физическое состояние, лопатить уголь надо с поистине устрашающей скоростью. Остальных это отпугивало; кочегары охотно менялись с ним сменой, и он месяцами выходил только в ночную; режим пришелся ему по душе, он свыкся…

Ночью подвал котельной был единственной живущей клеткой под сборочным цехом. Иногда он сомнамбулой проходил по цехам, там царила мертвая тишь, за высокими окнами мерцали холодные звезды. За стеклом снег казался синим, навечно расстеленным по мертвому холмистому

полю, тянувшемуся через весь заводской двор до маячивших вдалеке голых деревьев парка. Шаги хрустели в темноте по устилавшей пол металлической стружке, потусторонние шаги, явственно слышимые, удвоенные и утроенные эхом гигантского храма, где исповедуют религию труда. Пару месяцев назад он и сам здесь трудился, ныне же ведал затаившейся под бетонным полом потусторонней клеткой, полной раскаленной энергии и подвластной ему, ставшему вдруг тайным Богом этого храма.

Приходя к половине десятого вечера в кочегарку, он сразу садился за узкий продолговатый стол и принимался писать. Сквозь начало истории мысли продирались медленно, потом пускались галопом. Истории он писал все время одни и те же, с редкими расхождениями, которые лишь для него самого что-то значили. Большинство историй разыгрывалось в лесах… лесах его детства, когда-то казавшихся бесконечными, — и бесконечность лесов он силился повторить в этих историях. В них возникал одинокий герой, он шел по лесам, взбирался по холмам, холмы тянулись и тянулись, как в дурном сне.

Как в стихах Николауса Ленау — поэта, которого он в юности, миновавшей не так давно,

много читал: с увлечением, недоумением, то с раздражением, то снова захваченный ими, не в силах отложить в сторону и забыть, — так и в его текстах, не подчинявшихся жанровому определению, центральную роль играли времена года. Оторвавшаяся фигурка брела сквозь остановившиеся времена года; неизвестно, от чего она убегала, ибо мир, откуда она бежала, воочию не представить; явь стала этой фигуре настолько чуждой, что все попытки ее разглядеть терпели крах, она тонула за территорией, населенной тенями, беглец и сам уже толком не знал, откуда явился. И ныне стремился спастись из затерянности лесов. То были жутковатые истории, лишенные обоснования и наполненные враждебным и неприязненным дыханием неподвижных лесов.

Из-за того, что Ц. работал теперь на производстве, лес его юности отодвинулся вдаль; он отчаянно окружал себя вокабулярием этого леса, остались одни слова: деревья, листва, вода, облака, трава, трясина и осень. Доказательства того, что его истории имеют смысл, мало-помалу пропадали. Он писал все быстрее, но фигуры так никуда и не добирались: или сама история не допускала такой возможности, или ему прихо-

дилось прерваться. Дописывать историю завтра было вроде бы незачем.

А пока он писал, вокруг был завод со всеми его словарными значениями. Оцепеневшая действительность, громадой нависшая сверху, менялась: стало вдруг все равно, реальным или ирреальным представляется ему мир. Чудилось, будто он заперт в склепе под исполинской церковью, все отношения с которой порваны… из подполья, в котором он пребывал, человек сообщается уже не с администрацией, а только с Богом…

Или грезилось, будто он в корпусе старого парохода, в главной чакре гигантского накренившегося грузового судна, где обитают кроме него лишь чуткие крысы. Ему дана власть над сердцевиной этого парохода, от его бдительности зависит, сможет ли усталый, тоскующий по ремонту корабль следовать заданным курсом в отдаленную гавань. Но власть эта — не настоящая, вдоль борта мчались неукротимые океанские воды; он слышал из своей дрожащей каверны их гул и плеск.

А по утрам его настигал первый луч — Ц. узнавал его с детской благодарностью: через подвальный люк, прорубленный прямо под закоптелым, выжженным потолком, в кочегарку

заглядывало солнце, наконец-то добравшееся сюда по мокрым булыжникам заводского двора; в мутном от пыли, затканном паутиной стеклянном прямоугольнике вспыхивал свет. Ночь кончалась; в туманном утреннем свете он плелся домой, чтобы проспать весь день, один из тех упорных весенних дней, что никак не желают теплеть. А осенью, когда стремительно холодало, по утрам бывало еще темно. Вечером он снова шел на работу, уже начиналась ночь, город казался пустынным, острый ночной ветер выдувал из мозга последнюю слабую паутину сна. Под ней обнажались первые глыбы фраз, оставалось только придать им форму. В запасе еще несколько часов, он садился за стол, удлиненный стол, пол под которым как будто слегка уходил из-под ног. Вероятно, сознательно он выбирал торец стола, откуда обозревалось все помещение, видны были и котлы, и входная дверь, и наконец начинал писать — длинный стол, покрытый клеенкой цвета морской волны с темным узором, суживался к концу. Поразительно, как легко оно шло… странно, столько бесконечных приготовлений требовалось для этого почти невесомого занятия. Проходило какое-то время, и настоящее как будто бы оттеснялось, он сидел, покачиваясь на стуле,

обхватив ногами его ножки, словно в корпусе корабля на глубине впадины волны, уносимый быстрым течением, и организм моря глухо стучал под днищем.

Иногда он не помнил, что писал предыдущей ночью. За несколько первых часов на бумагу излился рассказ на десять с лишним страниц. Десять страниц старой школьной тетрадки в светло-серой обложке с пожелтевшим краем. Десять страниц он заполнил в один присест, в каком-то безудержном вдохновении, не дававшем перу отдохнуть. Тоненькая голубая разлиновка не соблюдалась, листы плотно, от края до края, покрывали торопливо бегущие волны буковок, все мельчавших, а под конец и вовсе едва читабельных.

Когда история завершилась, он сразу же — с паузой, необходимой на перелистывание страницы, — принялся записывать новый текст, до растопки котлов оставалось еще полчаса. Вторая история пришла ему в голову, когда он записывал первую… он торопливо писал, пока котлы не призвали к работе. Тогда, спрятав тетрадку в портфель из желтой кожи, он не мешкая стал выгребать шлак с колосниковой решетки. На старый тлеющий уголь загрузил свежий… Угля,

угля, еще угля; он предавал огню скифские чащи своего детства. Очистил от золы поддувала, настроил клапаны на оптимальную скорость сгорания. Теперь — погасить кучи золы и шлака, выросшие перед котлами; водяная струя из шланга ударила в кучи, кочегарка вмиг наполнилась взметнувшимися, как от взрыва, облаками пара, фонтанами еще раскаленной золы; он втыкал металлический наконечник в смесь шлака и золы, куча вскипала и, клубясь, брызжа грязью и искрами, поглощала воду, пока наконец не гасла. Выключить воду, погрузить дымящуюся материю в железную бочку, краном вывезти все из котельной; за ночь он вывозил от шести до восьми переполненных бочек. Убрать рабочее место, вымести остатки золы и шлака, ополоснуть водяной струей из шланга бетонный пол и фасады котлов, обдать клеенку, оконце, кафель, раковину на задней стене. Потом подняться наверх и самому встать под душ.

Когда он вернулся, под потолком висела молочная гряда облаков, сквозь нее пробивался нереальный свет висячих ламп. С черных абажуров стекали водяные нити, повсюду капал и струился конденсат, в лужах перед котлами отражался жар топок, искры шипели в воде,

красные и белые сполохи рассыпали в подвале свой странный огонь. Пожар в огневых каналах превратился в рев, равномерный, как рев локомотива или судового двигателя; сверху, из темных покамест цехов, доносились гулкие хлесткие удары пробивающегося по трубопроводу пара. Влажный гнетущий, почти субтропический зной воцарился в котельной, пахло прогретым на солнце мхом. Все новые и новые клубы пара возникали под потолком и оседали влагой; едва ревущий дымоход обернулся тишиной, как отовсюду послышалось бормотание и журчание воды… Тропический лес! — подумал он. В темных углах, где-то за котлами, проснулись и завели свой механический стрекот зимовавшие тут сверчки. Он снова уселся за стол, вынул из желтого портфеля тетрадь и начал писать…

В конце апреля 1986 года он впервые поехал в Вену, его пригласили на чтения, он с радостью ждал поездки. Ему казалось, он любит Вену, город литературы… но боялся, что повторится разочарование, которое он за несколько месяцев до того пережил в Париже. И страдал, что придется снова уехать из Нюрнберга: из Папуа — Новой Гвинеи вернулся Герхард. Ц. теперь снова жил в Ханау, где основным его занятием стало пьянство. Он

сказал Гедде, что воспользуется временем в Ханау для писания, но она понимала, что он не пишет. Он не звонил неделями, отговариваясь тем, что боится услышать в трубке голос Герхарда, она не раз спрашивала, не хочет ли он переехать в Нюрнберг; он все не мог решиться, медлил с ответом. Когда он находился в Ханау, его подлинная сущность была скрыта от Гедды…

Большинство книг из раздела *Холокост amp; Гулаг,* купленные уже в Ханау, валялись по всей квартире. На полу, на креслах, на отвратительно буром, просиженном до черных засаленных пятен диванчике. Между книг на расстоянии вытянутой руки повсюду стояли бутылки, в основном початые; водочные, винные, пивные, они насыщали жилище стойким алкогольным чадом, от которого, казалось, тускнел свет и с утра тянуло на рвоту. Посреди большой комнаты, среди батарей бутылок и книжных завалов, лежал матрас, который он вынул из невыносимой кровати, и груда колючих пледов и одеял, в неразберихе которых он засыпал… когда придется, — как правило, когда алкоголь свалит с ног. По пробуждении его иногда рвало прямо' с матраса… достаточно было свесить гудящую голову, и из глотки вытекал неусвоенный алкоголь, вонючий,

цвета черной крови, вперемешку с ошметками хлеба и неразжеванными кружочками соленого огурца… отдышавшись, он брал какую-нибудь книгу, сгребал ею излившуюся из утробы адскую бурду в пластмассовый пакет; книга из секции *Холокост атр; Гулаг* отправлялась туда же; обычно он в тот же день покупал книгу заново.

Вторую категорию книг, густо усеявших пол, среди которых он жил подобно рептилии, составляла литература, посвященная всевозможным формам психотерапии и психоанализа (тут он поддался влиянию западной моды); и эти книги тоже его осуждали… он взялся за них (наверное, сдуру) после того, как впал в глубокий кризис, начитавшись о преступлениях диктатур двадцатого века. Психологическая литература ему не помогала. Он лишь находил в ней собственные мучения да утверждался в подозрении, что лишь благодаря весьма шатким обстоятельствам не стал орудием названных диктатур. Только его жалкое отношение к жизни, как к черновому наброску, и не дало ему ухватиться за нижнюю перекладину лестницы, ведущей к преступлениям…

Эти книги скрупулезно выявляли его тип, после чтения он чувствовал себя так, словно над ним тяготеет проклятие… он редко прочитывал книгу

от корки до корки, однако с мазохистской точностью инстинктивно открывал именно те главы, где все кишмя кишело примерами, отрицавшими за ним всякую способность любви.

Он словно выискивал в этих книгах психологическую подоплеку, по которой его любовь к Гедде была неминуемо обречена на поражение…

Он знал, что Гедда любит и ждет его в Нюрнберге, что он ей желанен и она страдает из-за того, что его нет рядом, — все это он знал, однако предаться этой любви не мог. Он и в себе ощущал желание, но полагал, что не способен донести его до Гедды. Сколько бы он ни пытался, внутри немедленно раздавался голос, обвиняющий его во лжи… голос подстерегал ежесекундно, словно и впрямь обладая силой древнего, по наследству передающегося проклятия. Едва в нем зарождалось чувство любви, как голос немедленно обличал его в попытке обмана… недреманное око всех государственных религий как будто следило изнутри за честностью его чувств. Он уж и не помнил, было ли когда-нибудь: в начале, в конце, в середине — его чувство честным. Не находил в себе сосуда, который мог бы вместить с чистой совестью Геддину любовь… очевидно, он потомок ущербного племени, где всякая попытка

общинности загнивала на корню.

Он вспоминал, как пытался было не слышать голос: и тот ненадолго предоставлял ему свободу действий, а потом, в момент слабости, объявлял его мятеж чистым лицедейством.

Когда он не мог писать, только выпивка и позволяла ему как-то смириться с собственным существованием. Водка вступила в альянс с психотерапевтическими книгами (он читал их с той же страстью, что и предавался алкоголизму): он чувствовал себя недочеловеком и имел тому, черным по белому, все доказательства.

В Вену он ехал в надежде, что удастся на несколько дней вырваться из этого состояния, вдохнуть иного воздуха, а то, глядишь, и на замысел набрести; приехал он в ночь с 29-го на 30 апреля. Назавтра целый день бродил по улицам, в радиусе своего отеля, неподалеку от собора Святого Стефана; было душно, жара стояла почти летняя. Очень скоро Ц. ощутил странную подавленность, сковавшую, казалось, весь город: в ресторанчиках было пусто, столики на солнце перед кафе не заняты, ветерок трепал скатерти. И похоже, именно за дуновением этого ветерка следили подозрительными взглядами стоящие в дверях официанты в традиционных

белых фартуках: не усилился ли? откуда дует? Они всматривались в небо, безупречно голубое, только вдалеке, чуть с краю, замерло без движения несколько серовато-белых барашков. Эти-то облачка, похоже, и притягивали к себе всеобщее внимание.

Очень скоро Ц. узнал, чем объясняется эта напряженность: за несколько дней до того, 26 апреля, в украинском городе Чернобыле загорелся атомный реактор; репортажи об аварии звучали все более устрашающе. Сидя в ханауской берлоге, он ничего об этом не знал, сообщения достигли его только в Вене; судя по всему, произошла катастрофа, в истинных масштабах которой никто еще не отдавал себе отчета.

Каково значение чернобыльской аварии? Размышляя об этом позже, Ц. приходил к мысли, что тот апрельский день 1986 года стал для всего мира *переломным.* Индустриальный век пережил *перелом.* Слепая вера человечества в технический прогресс была поколеблена как никогда прежде, и случилось это в системе, славившей идею прогресса как никакая другая. Вере в господство человека над миром был нанесен страшнейший удар…

Еще несколько лет назад он и сам был персона-

жем этого индустриального века — пусть всего лишь одной из бесчисленных пешек. Фигурой из отсталой устаревшей эпохи, принадлежащей прошлому…

Он шел по улицам, и ему казалось, будто весь город ожидает первых сигналов к эвакуации. Словно под гнетом неведомой угрозы, люди торопливо пробегали по соседним с собором Святого Стефана улочкам; только по неотложным делам решались высунуть нос на улицу, потом опять запирались в домах. Метеорологи высказали предположение, что следующий дождь может пролиться на Вену из облаков, проделавших свой путь над Юго-Восточной Европой, а потому будет содержать радиоактивную заразу.

Вечером, 30 апреля, в небольшом зальчике, похожем на театральное фойе, проходили его чтения; его объявили как автора из ГДР; стало быть, он из той же политической системы, что спровоцировала чернобыльскую катастрофу. Он сидел на небольшом возвышении перед публикой — от силы человек двадцать, — устремлявшей на него смущенные взгляды. Прочел три небольших текстовых блока, паузы между которыми заполнял пианист. Посреди второго блока ему стало казаться, что от потчует людей

какой-то странной абракадаброй. Они смотрели в упор, словно ждали если не объяснений, то уж по крайней мере извинений за несчастье, которое принес человечеству Восток. Последним блоком шли стихи, и тут его вдруг обуяло упрямство. Он читал все быстрее и громче, почти не делая пауз, под конец швырял стихи в зал с сердитым пафосом, словно желая заглушить этим речитативом недовольные голоса, пока они еще они не набрали силу. Публика старалась не выказывать неуважения, проявляя стоическое терпение. Изумление и сомнение, написанные на лицах людей в первом ряду, мало-помалу сменялись неприязнью. Жидкие скептические хлопки быстро отжурчали в фортепианных аккордах…

Поздно вечером он снова вышел в город; заплутал и совершенно забыл, в какой стороне отель. Хотелось выпить — он это чувствовал, — но не «в приятном обществе», где нужно поддерживать беседу, выслушивать любезности, силясь отвечать той же монетой, — хотелось пить, как он привык, молчаливо, мрачно, торопливо, пока что-то внутри не оживет вновь, пока зверь лесной, совсем было захиревший, не зашевелится, не выглянет из его глаз…

Он забрел на ярко освещенную узкую улоч-

ку, где из-за каждой двери неслись навязчивые мотивчики и царила обычная щегольская манерность увеселительного квартала. Здесь рабочий день еще не закончился, здесь слонялись — в основном компаниями — беспокойные и жаждущие, которым никакая мировая катастрофа нипочем. Он уже хорошо набрался и смог без колебаний войти в первое попавшееся пип-шоу. Перегруженные кольцами и цепочками руки бородатого мужчины с гладкой, как зеркало, лысиной листали страницы альбома, перед глазами Ц. мелькали фотографии девиц в неглиже. Он ткнул наугад, почти не глядя, в один из снимков, заплатил положенную сумму, вошел в кабину, которую ему указали, и закрыл за собой дверь. Ему с трудом удалось сфокусировать взгляд на молодой девушке, которая всего в двух шагах, за стеклом, в бутафорском интерьере, исполняла перед ним свое шоу. Она знаком предложила ему присесть, но он продолжал стоять, даже шагнул поближе к стеклу с отчетливым ощущением необходимости выполнить какой-то странный долг. Он пытался глядеть ей в лицо, но оно не выражало ничего, кроме недосягаемости, будучи отделено от него расстоянием, неизмеримым в пространственных категориях… Пока он пытался найти тому объяс-

нение, она с естественной грацией освободилась от узеньких тряпочек, которые были на ней, когда она входила. Он не затем сюда пришел, чтобы смотреть на ее лицо, подумал Ц., переводя взгляд на тело, груди, ляжки, которые плавно растягивались, раздвигаясь все шире… и вдруг ему показалось, будто он ничего не видит. Да он и вправду ничего не видел, какую-то функцию мозга словно стерли, он таращился в зияние между ляжками и ровным счетом ничего не видел; нет, для него она невидима, эта женщина, смерть схватила-таки его за глотку…

Он пошел к кассе, заплатил, снова ткнув в тот же снимок. В этот раз ему почудилось, будто на губах женщины, вновь появившейся за стеклом, играет чуть заметная улыбка. Все повторилось заново, пританцовывая, она опять стала раздеваться; в нескольких сантиметрах от него извивалось за бронированным стеклом прекрасное женское тело с блестящей кожей — и вдруг набежали тени, все помутнело и поплыло. Он почувствовал на глазах слезы, стиснул зубы, пытаясь сдержаться (неизвестно, видит ли она его за стеклом), до крови прикусил зубами мякоть щеки. И вышел из кабины.

На улице он прислонился к стене дома; про-

хладный ветер погладил мокрый от испарины лоб, пахло дождем. Он вышел из квартала, забрел на неосвещенные улицы; он уже почти не помнил, что с ним стряслось несколько минут назад. Органы чувств отказались ему служить, в самый ответственный миг с ним приключилось что-то вроде потери зрения. Женская плоть предлагала ему себя, женщина вертелась, нагибалась, садилась на корточки, а он не смог ее увидеть; она поднесла руки к лону, приоткрыла срамные губы, он это знал, но ничего не видел…

Когда подходил к отелю (проследовав, скорее по случайности, ошеломительно коротким путем), зарядил мелкий дождик, пахнувший скорее пылью, чем водой. Здесь, на отрезке между двумя боковыми улицами, тротуар вел под аркадами, мимо ряда колонн; он шел и шел… и вдруг отпрянул назад. Взгляд уперся в окна с закрытыми ставнями, казалось, они закрыты уже очень давно, краска местами облупилась — здание напоминало с виду обветшавший разорившийся театр, — и прямо на этих ставнях висели афиши — с его лицом! Три или четыре окошка на первом этаже, и каждое обклеено такими афишами. Он обернулся чуть ли не в ужасе и только тогда заметил, что и колонны тоже обклеены теми

же афишами… это были рекламные афиши уже завершившихся чтений.

Неужели это его лицо? Да, это оно, явственно узнаваемое, но то обстоятельство, что оно здесь, да еще растиражированное в таком количестве, лишено всякого правдоподобия. Он не понимал, в чем дело: он и узнавал себя, и нет… может, все-таки не его? Точно, физиономия на рекламных афишах не имеет к нему отношения… он, Ц., по воле какого-то необъяснимого рока оказался за этим лицом; потом это засняли на пленку и в результате чьей-то нелепой ошибки поместили на афиши за неимением его подлинных изображений: портрет на афишах — это портрет мертвеца… быть не может, чтобы былая жизнь этого трупа являлась его историей — той историей, что у него за плечами…

Я должен эту историю закончить, в ней больше нет смысла, подумал он. Я должен немедленно с ней развязаться.

* * *

«Бьют, — пронеслось в голове. — Бьют… Так и надо… Дождался, значит… это должно было произойти!» Напоследок — он уже был в нокдауне — тяжелый пинок угодил под нижние ребра, и

на какое-то время он потерял сознание. Но пнули его наверняка не единожды; эти грубые брутальные башмаки были предписаны модой, *бутсы* — так называют эти махины из желтой замши на профилированной подошве. Наконец, с трудом закачав в легкие воздух, он сел на булыжники, ощупал болезненные места. Перед тем как искры, посыпавшиеся из глаз, померкли, он еще кое-что заметил. В карман куртки, где у него лежал кошелек, уверенно нырнула рука кого-то невидимого.

Он понуро сидел на булыжниках, медленно припоминая ход событий. Был на пути домой, шел из пивной, по узеньким темным улочкам, которых всегда остерегался, тем более что и путь-то они сокращали весьма незначительно; выпито было много, очень много; он шел нетвердой походкой, держался середины улицы. Сквозь туман в мозгу раздался топот быстрых шагов, за ним гнались двое, может, трое, он не успел ничего толком понять, как грохнул удар по затылку. Обернулся, замахал кулаками в воздухе, слишком замедленно,

сзади и спереди маячили тени; на череп обрушился град ударов, сбил с ног. Потом он говорил себе, что лег умышленно — чтобы благополучно завершить сюжет.

Было около часу ночи, его день рождения закончился час назад; к двум он наконец добрел до квартиры, встал под ледяной душ. Потом сидел на кухне, голый, дрожащий, курил. Характерно, что рука все еще тянулась к телефону; набирать Геддин номер бессмысленно, он это знал; он пытался весь вечер и оттого все больше сходил с ума…

Прошедший день был днем его рождения, ему стукнуло сорок восемь — не та дата, чтобы как-то особенно праздновать. Необязательно. Но Гедда расстроилась: он опять назначил на этот день чтения… Что ты волнуешься, я ведь на сей раз не твой день рождения забыл, а свой собственный, сказал он. К тому же вечером вернусь. Он выступал в окрестной деревушке, в некой художнической колонии на бывшем крестьянском хуторе, где небольшая компания женщин в возрасте от тридцати до пятидесяти занималась чем-то вроде арттерапии; среди них было несколько знакомых Гедды, она-то и навела их на мысль пригласить его; отказываться от денег не хотелось, пообещали гонорар в шестьсот марок. Почему он не предложил Гедде поехать вместе; она отвезла бы его на машине туда и обратно? По правде говоря, его удержало то обстоятельство, что читать предстояло перед женской аудито-

рией: двадцать пять человек, и все женщины. Договорились начать не поздно, поторопись он немного — и к семи вполне успел бы вернуться. Когда он вошел в квартиру, на часах было двадцать минут одиннадцатого.

Сразу ринулся к телефону и позвонил Гедде; меж тем как из трубки с бесконечной монотонностью несся сигнал «свободно» — пока явно бессмысленную связь не разъединили, — он заметил, что на кухне что-то изменилось. Не отрывая глаз он смотрел на эту перемену, прижимая к виску стрекотавшую трубку, так что уху стало больно: рядом, на спинке второго кухонного стула, висела желтая кожанка…

Он уже несколько лет не носил эту куртку, однажды она оказалась там, на площади Шиллера, и с тех пор пребывала в Геддином платяном шкафу…

И вот она висит здесь, на спинке стула, отбрасывая свой жалкий желтушный отсвет на всю кухню… и почему-то ему вдруг показалось, что от куртки слегка отдает хлороформом…

Он вынул из холодильника початую бутылку водки и залпом опорожнил. В ту же секунду подумал, что ведь еще не проверил почтовый ящик…

Снова набрал Геддин номер, но повесил трубку,

не дождавшись сигнала. Действовал как автомат: очень точными, словно управляемыми извне движениями; вытащил из карманов летнего пиджака, который был на нем, все содержимое, надел желтую куртку, набил ее карманы всякой всячиной, которую всегда имел при себе — сигареты, зажигалка, загранпаспорт, очки для чтения, кошелек. Было легкомыслием засунуть кошелек в узкий и тесный боковой карман кожанки — тот почти выпирал наружу…

В пивной он пил с невероятной скоростью пиво и водку. Притулившись к стойке, безостановочно задавал работу человеку на розливе; до закрытия оставалось не более двух часов, внутри бушевала такая тревога, что в ней, как в раскаленном кузнечном горне, каждый новый стакан испарялся с легким шипом, точно капля воды. За спиной чадила и гудела переполненная пивная, разноголосый гомон, силившийся перекрыть дискомузыку, подвывавшую из динамиков, прибавлял нервозности. После каждого второго стакана он шел к телефону, висевшему на стене рядом с дверью в сортир, и набирал Геддин номер. Каждый раз аппарат выплевывал монетки обратно… Что там еще творилось в пивной, было погружено во мрак, всплывали какие-то спутан-

ные, искаженные, зыбкие картинки, в памяти зияли провалы… запомнился только изумленный взгляд бармена, когда Ц., расплачиваясь, бросил на стойку пятидесятимарковую купюру. Только когда добавил еще двадцатку, тот дал ему сдачу…

Позже как будто вспомнилось, что всякий раз, когда он возвращался от телефона к стойке, за дальним столиком рядом с выходом, где сидели сплошь молодые парни, воцарялось молчание; они вроде бы с любопытством пялились на него, когда он, нетвердым шагом, ковылял мимо. А он не обращал внимания…

В кармане брюк обнаружилась сдача: скомканная десятка, все еще влажная от мокрых рук бармена, и несколько пфеннигов. Прихрамывая, он обыскал квартиру в поисках денег, там и сям находилась мелочь, то на подоконнике, то на столе… когда показалось, что на бутыль дешевой сивухи и сигареты денег хватит, он оделся и двинулся к Фридрих-Эбертплатц, где выстроился целый ряд киосков, в которых торговали жареной картошкой и напитками, киосками ведали турки. Одна из этих лавочек всегда открыта до утра, полиция терпит: благодаря этому ясно, где собираются городские бродяги…

Возвращаясь с бутылкой в руках, он снова проигнорировал почтовый ящик. Боялся найти там запасной ключ, который когда-то отдал Гедде…

Большинство так называемых бомжей можно было застать на вокзале, хотя опасностей там было вроде бы больше; но ночью в просторных торговых пассажах под землей теплее, чем у киосков на Фридрих-Эбертплатц. Ц. сидел на ступеньках одной из лестниц и тайком наблюдал за бомжами; в его распоряжении — целая лестница, он к ним не причастен, они его не замечали. Его судьба несравнима с тем, что выпало на их долю: от него просто женщина ушла, только и всего. С иным из этих людей, быть может, тоже когда-то случилось нечто подобное, но потом все так стремительно ухнуло вниз, что первоначальный повод уже и забылся. Они и думать забыли о своем одиночестве, они его не замечали. Большинство составляли здесь мужчины (если не принимать во внимание собак, сворой возившихся у ног), но несколько женщин, как правило, тоже присутствовало. У Ц. кольнуло под сердцем, когда после полуночи они стали готовиться ко сну: двое-трое мужчин уложили немытые, всклокоченные головы женщине на колени, тела растянулись на разостланном картоне. Та прикрыла, как смогла,

их головы своими свисающими под несвежей рубахой грудями; заплывшее от кутежей лицо женщины смеялось, она смолила окурок и посасывала пиво из банки; мужчины, удовлетворенно похрюкивая, задремали. Вокруг этой маленькой группы сомкнулись кольцом все остальные, как можно плотнее, как можно удобнее устроились на твердых каменных ступенях, в щели подлезли псы, и вырос теплый холм неопределенного рода живых существ, замысловатым образом сложившихся вместе. Дыша, хрипя, тихо повизгивая, отдыхали они, и звуки их тел напоминали странное пение, в котором, казалось, была согласована каждая нота. Ц., вот уже который день томившийся бессонницей, почувствовал вдруг что-то вроде зависти… Зависть караулила неустанно, стоило ему завидеть мельчайший намек на человеческое тепло и близость, она тут же хватала его за горло. Устыдившись, он тотчас удрал прочь по пустынным улицам. Обойдя стороной Бургберг, темными боковыми улочками добрался до своего жилья, зорко поглядывая по сторонам: второго нападения, очевидно, можно не опасаться, все, что хотели, они уже взяли…

Гораздо больше, чем этих улиц, он боялся своей квартиры, этой натрое разделенной клетки, где

он дышал пылью, осаждаемый неутомимым лаем и тявканьем орды вертлявых гончих под окнами. Почему он не послушался Гедды, почему не уехал отсюда давным-давно? Почему не поселился с ней; она столько раз предлагала подыскать совместное жилье…

Борясь с собачьим визгом, он ночи напролет слушал пластинки. Соседи жаловались, на вой окаянных псов они не жаловались; с соседом-мясником все были на дружеской ноге. На днях он отыскал среди уцененного барахла в одной лавочке на Брайте-Гассе первый диск *Блюз-бэнда Пола Баттерфилда* и сейчас прослушал его раза три или четыре подряд. Первая песня, написанная Ником Грэвенитсом, начиналась словами: *I was bom in Chicago, in Nineteen forty-one;* она как будто нарочно писалась под Пола Баттерфилда: тот и вправду родился в сорок первом в Чикаго. Баттерфилда уже нет в живых; гитарист — всегда облаченный в элегантные костюмы от Майка Блумфилда — тоже мертв; смерть объяснили злоупотреблением наркотиками и алкоголем. Ц., того же года рождения, что и Баттерфилд, все еще жив…

Если он, конечно не заблуждается, то он все еще жив. Насквозь пропитавшись блюзами, Ц.

почувствовал тошноту и спустился на улицу. Вот уже несколько недель подряд тошнота и бешеная тревога накатывали через каждые пару часов. Это бессмысленное беснование; знать бы, приходит оно извне или рождается внутри? Подойдя к площади Шиллера, он увидел, что в Геддиных окнах нет света. Бессмысленно твердить себе, что в это время там не может гореть свет… она уехала, никаких сомнений нет. Исчезла, попросила всех говорить ему, что ее нет… вышла из игры, наверное навсегда! По счастью, все пивные в округе уже закрылись, и вскоре он вновь оказался в своей квартире. Церберы слегка приутихли. Притронуться к шнапсу в холодильнике он не посмел… если сейчас достать бутылку, то он не сможет выплеснуть ее в раковину; вот уже который день это так. В дорожной сумке — две голубые таблетки валиума; располовинить каждую и, если все сложится благополучно, можно спать еще четыре дня…

Все знаки — яснее ясного: желтая куртка на спинке стула, ключ в почтовом ящике, ни слова объяснения, ни прощального письма; самая жирная точка, какую только можно себе вообразить. Целыми днями он висел на телефоне, названивал знакомым: прямо полоумный какой-то, кашляет,

задыхается, ну до чего ж зануда; ребра тем временем срослись, опухлины на морде спали. Как только дыхание мало-мальски восстановилось, он рухнул на матрас и прямо среди ночи взревел от боли; плакать не мог, орал, как раненый зверь; чудо, что соседи не натравили полицию. Гедда, похоже, и впрямь никого не уведомила, куда сбежала, все знакомые утверждали, что для них это тоже полнейшая загадка. Вспомнился Мюнхен, вполне возможно, что она там, в последнее время она работала над одним текстом, действие происходило в Мюнхене. Но от мюнхенских друзей тоже было ничего не добиться; Ц. попросил их позвонить Герхарду, они обещали, а потом все не перезванивали. На следующий день сказали, что Герхард тоже ничего не знает.

— Да он не хочет знать! — заорал Ц. в трубку. — Он только так говорит…

— Нет, — возразили они, — судя по голосу, он очень встревожен и обеспокоен…

Женщина с Кобергерштрассе, та, у которой всегда по ночам горел свет, обронила в какой-то момент слово *Хаар*. Ц. повесил трубку, уселся за кухонный стол и задумался (проворные бестии на заднем дворе выли все пронзительнее): неужели Гедда отправилась в хаарскую клинику… туда,

где он сам однажды проходил курс детоксикации. На этот шаг его уговорили тогда ее знакомые. Вспомнились вдруг несколько Геддиных реплик, судя по которым мысль о клинике не была ей чужда. Если уж совсем никак, то всегда, на худой конец, остается психиатрия, сказала она; речь шла о ее навязчивых панических состояниях. Порой эти страхи мучили ее так сильно, что он даже подумывал, не отменить ли ему чтения, чтобы остаться с ней в Нюрнберге, но в последнюю секунду, терзаясь совестью, все-таки уезжал. Под конец она научилась ловко скрывать от него свои страхи, делала вид, что все нормально. «Мои дела лучше, чем ты полагаешь!» Подобные фразы звучат в ушах до сих пор. Вечером накануне чтений — перед женщинами, проходившими арт-терапию, — дело дошло до ссоры: он совсем уже с ней не считается, упрекнула Гедда. — Он мог бы с легкостью отменить это выступление, объяснить отказ днем рождения. Но шестьсот марок оказались важнее. Когда ночью после той ссоры он уходил к себе, ему было тревожно, Гедда, похоже, пребывала в каком-то странном смятении. А вдруг ее страхи вернулись… вдруг она почувствовала, что не сможет быть ночью и назавтра одна?

Теперь уже поздно искать ответа. И те шестьсот марок тоже коту под хвост; он отчетливо помнил миг, когда рука, скользнув в карман желтой куртки, вытащила кошелек. Денег было не жалко, хрусткие пинки ниже пояса занимали его куда больше. Боялся за свою жизнь…

В тот миг он не думал о том, что боялся за жизнь, в которой не будет Гедды…

Примерно за месяц до того он в один из своих ночных пьяных рейдов забрел в так называемый квартал красных фонарей, недалеко от вокзала, и оказался в заведении, что-то вроде бара, где сидел за стойкой, таращась на экран, по которому прогонялись одна за другой сцены совокупления; сидеть так было неловко: кроме него, на экран никто не смотрел. От этого занятия его отвлекла молодая женщина, спросившая, не желает ли он ее угостить; по-видимому, она состояла в штате полураздетых дам, «разводящих» мужчин на выпивку. Вместе с женщиной и заказанным ею шампанским он очутился в так называемом отдельном кабинете — нише, обитой красным плюшем, почти полностью загроможденной диваном и круглым столом. Он сидел в этой скудно освещенной клетке, отделенной от внешнего мира занавеской, как воды в рот набрав, наконец

она спросила, чего ему, собственно, хотелось. «Покажи свою грудь», — сказал он. Это обойдется в шампанское, отвечала женщина. Он уже не помнил, выполнила ли она его пожелание; когда она в третий раз отправилась за шампанским, он пошел в туалет, на лестнице было пусто, он воспользовался минутой и улизнул из бара…

Все остальные воспоминания о той ночи стерлись, он даже улицы с тем баром не мог отыскать.

После того нападения он все высматривал в городе людей, которых мог повстречать в баре; «сутенеры» — так он называл про себя этот тир. Забрали-таки деньги, на которые он их надул, даже в два, если не в три раза больше забрали. Впрочем, это лишь домыслы, доподлинно ничего неизвестно. И таких субъектов в городе пруд пруди, все они почему-то на одно лицо, хотя вид имеют довольно пестрый: цветастые рубахи, золотые цепи на груди и запястьях, цветные татуировки, усы; всегда свежеподстриженные и всегда как будто только что из солярия или массажного салона. Обходить их стороной нет смысла, весь город наводнен такими…

В последнее время его стало охватывать странное равнодушие — потому, видно, что он все чаще

бывал трезвым. Он запретил себе пить, сказав, что непременно должен пробиться к ясности мыслей. Иногда по ночам он, лежа без сна на своем матрасе, мокрый от пота, мучась периодическими приступами тошноты, вдруг понимал, что отказ от алкоголя занимает его гораздо больше, чем утрата Гедды. Почти весь день ни разу о ней не вспомнил, и вчера, и третьего дня, кажется, тоже. Только изредка, когда накатывало безумие, начинал третировать телефон. Звонил в квартиру на площади Шиллера, по полчаса кряду, в состоянии, близком к помешательству, из которого выходил неимоверно усталым… Даже если тонну угля перелопатить, и то так не выдыхаешься, говорил он себе. Лежал на матрасе, не в силах пошевелиться, в голове проносились панические мысли. Длинные вереницы самоупреков, вдребезги разносившие сознание: почему он не съехался с Геддой? Почему не может устроиться в этом мире? Почему затянул расставание с Моной? Не поехал с Геддой в Грецию?

Почему больше не спал с ней? И вместо этого думал о ком-то другом? Почему не мог с ней об этом поговорить? Почему не любил…

События шли мимо, его не касаясь; изредка он что-либо отмечал, подобно тому как регистриру-

ешь краем глаза нечто несущественное; газет не читал, радио не слушал (чтобы посмотреть телевизор, он всегда ходил к Гедде), в издательство не звонил. А заголовки, которые все же достигали его сознания, оставляли равнодушным: беженцы в посольствах, волна массовых отъездов из ГДР, открытие границы с Венгрией, визит в Прагу западногерманского министра иностранных дел. Демонстрации в Лейпциге, Берлине, Дрездене; создание в ГДР новых партий: Новый форум, Демократический прорыв, СДП… сорокалетняя годовщина ГДР… уход в отставку хонекеровского правительства. События маячили где-то вдалеке… на мгновения входили внутрь — и тут же выскальзывали. Отчего это равнодушие? Неужели он и вправду ее не любил? Может, просто не ощущал? Не понял, не разобрался? Нет, он точно ее любил, в меру своих возможностей — должно быть, ничтожных, слишком ничтожных, — но любовь в нем была, он это знает. Он не даст убедить себя в обратном; несмотря на всю свою неспособность, он ее любил…

Почему же он этого не заметил? Почему был так одинок, почему не знал ни на что ответа? Почему забывал ее день рождения, забывал позвонить… теперь время упущено, кончено — о, непредска-

зуемый этот сентябрь!

Проходили недели и месяцы, они не имели к нему отношения. А может, он не теми вопросами задается, может, следует спросить: жил ли вообще? Проснулся ли для жизни. Сыздавна, с тех пор, что начал мыслить, он пребывал словно в полусне, на грани пробуждения. Но пробудиться не удавалось. А чтобы быть сопричастным любви, нужно бодрствовать, проживать жизнь. Жил ли он — это еще предстояло выяснить.

* * *

Вот они, тут как тут: бездомные, нищие, те, кого называют бомжами; слоняются перед вокзалом, сидят, понурив головы, по-турецки на каменном полу тоннеля, ведущего к трамваям, поставив рядом с собой пластмассовый белый стаканчик, на дне — пара монет. В дверях вокзала они не такие смиренные, как в Нюрнберге или во Франкфурте; оборванный восточный европеец вцепляется за рукав, гортанно талдычит: «Битте-биттегельд, битте дойчмарка…

Приходится резко выдергивать руку; вглядываясь в их лица, ты понимаешь: в Секуритате они не служили; у тех-то дела идут получше, может, даже превосходно. Эти же были от силы мелкими

жалкими шпиками.

Центральный вокзал Лейпцига почти не переменился — пока не успел, — только фасад захлестнуло бескрайнее половодье письменных знаков, отменяющее пока еще непривычную свободу слова, прямиком ведущее к безалфавитной культуре: предвыборные плакаты, на которых еще не сказался возраст, реклама всякой безделицы и халтуры, доброжелательные до колик в желудке приглашения на вернисаж, зазывы в сауну, на массаж, наставления в азиатском целительском и любовном искусстве. Много бумаги смыто дождем, склизкие мылистые следы длинными шлейфами тянутся в глубь вестибюля. Внутри, как будто отпихивая друг дружку, наседают на стены дощатые будки; от несметного их количества вестибюль вдруг сделался маленьким. Киосковая культура акул фаст-фуда превратила центр города в груду наспех сколоченных будочек; все выглядит так, словно мусорщики уже не первую неделю бастуют.

Ц. вовсе не против анархии, не против неразберихи, но это — не анархия, а диктатура глупости и торгашества. Хищные рыбы помельче: банкроты, жулики-трюкачи, торговцы подержанными машинами и всякой дешевкой — явились самыми

первыми; они до того остудили свободолюбивый пыл бывших восточных немцев, что тем захотелось вернуть свою стену. Крупные же акулы пока выжидали: торопиться им некуда, они пока в Таиланд инвестируют, мусолят слово «Германия» до оскомины, а к сердцу прижимают заветные сундучки, набитые акциями; они и в тридцать третьем сперва переждали, какие планы у черноусой таксы, — и ожидание окупилось. *Фолъкс-полицай* делает с юными наци общее дело (по крайней мере, поджала хвост перед ними), красных повсюду клеймят позором; это потихонечку улучшает инвестиционный климат.

Он заехал к матери; было начало мая, довольно холодно. В Лейпциг он прибыл утром, хотел сразу поехать в Берлин, но решил сперва заглянуть на книжную ярмарку. Однако вспомнил, как на последней, Лейпцигской, ярмарке, где он побывал — последней ярмарке времен ГДР, в год воссоединения, — его затрясло вдруг от омерзения и он убежал оттуда; писания журналистов, профессиональных диссидентов и жертв прославлялись и производили фурор; книги настоящих писателей не воровали больше со стендов, они одиноко и глупо глазели с полок на бывших своих читателей.

Маленькое солнце, лишенное всякого тепла, стояло над вокзалом, сверкая до рези в глазах ослепительной белизной. Невзирая на будний день, привокзальная площадь пустынна; внутри, в двух больших купольных залах, тоже гулко от пустоты; разве что у киосков, где продают сосиски и пиво, бродят подвыпившие бомжи, их сизые от холода носы глядят из кустарника бороденок. Ц. пронес до самого верха свою утробу, полную черной расплескивающейся желчи (а заодно — тяжелую сумку, полную книг, старинных гэдээровских изданий); встречные расступаются, у него дурной глаз — сразу видно. Посреди широкой прямоугольной платформы, перед перронами, он шлепает сумку наземь. Часы, справа и слева, с восточной и западной стороны (тупиковая станция всегда казалась ему назойливым символом; впрочем, это уже позади), показывают разное время (сейчас, наверное, около девяти); потроха часов, затвердевшие от сухого дыма и грязи, предынфарктно булькают; из далекого незримого закоулка вокзального континента хлестко шипят удары пневматического молота: совсем без эха выстреливают они под крышу, слишком тихие, чтобы быть шумом, однако голуби ощущают себя как под сильным ружейным огнем. А в остальном

ледяной зал вокзала тих и пустынен.

Иногда — в сновидениях, в гневных и мстительных фантазиях, помогавших заснуть, — он видел себя лежащим на крыше вокзала, над главным фасадом, на парапете фронтона, скрытый декором и каменными завитушками, за пулеметом, повернутым к городу; глядел в прицел на подъятый перст Университета имени Маркса (где однажды, когда он зашел навестить свою подругу Мону, ему указали на дверь — ему, *пролетарию…)* или же наводил орудийный ствол на безобразную новостройку Центрального управления Штази (по легенде, параллелепипед врыт в землю на глубину девяти этажей, дабы пыточные компьютеры работали бесперебойно); ему и поныне случается видеть из этой точки, как стелется в разные стороны — темный, без цели — городской дым и кружат в этом дыму сумбурными стаями мелкие черные птицы, будто желая согреться, непонятного вида, очумелые городские птицы.

Вокзал пуст, как одно из его сновидений. Ранних утренних поездов больше нет, поздних ночных — тоже нет. А электрички к началу смены, с рабочим и служащим людом, к этому часу уже отошли; они не так набиты, как прежде, заполнены только-только, прежней уймы заводов,

по которым нужно всех развезти, больше нет (да и зачем? в конце индустриального века…). И все-таки, громыхая железом, они выезжают из полукруглых ворот за концом перронов на волю, на свет, туда, где расходится веером дельта путей. Ц. остается один… он уже давно нигде не работает, когда-то его за это клеймили. Сердце его заволакивает печаль. Печаль, что повеяла в сердце из полутьмы под вокзальными перекрытиями, смешана с бесподобным запахом, рождающимся на старых вокзалах вот уже сотню лет. Это запах обшарпанных темно-зеленых составов, уже отъехавших от перронов. Запах их красновато-бурых железных колесных тележек, старой смазки и горькой пыли. Вагоны, долго стоявшие на перегонах, на затерянных отдаленных путях, в степях, лесах, на старых диковинно пахнущих рельсах, вагоны, вобравшие запах старого щебня меж шпал, серого, черного, промасленного, заскорузлого от песка, запах старых пропитанных деревянных шпал, между которыми тянется щебеночная пустыня, запах старого черного гранита, с солоноватым привкусом, запахом сварки. И обветшалые вагоны, наконец привезенные из забвения, доставили тот запах на вокзалы, и вокзалы пропахли пустыней и щебнем… углем,

землей, грязью перронов и грузовых платформ, где сортируют и погружают в вагоны животную и людскую плоть жизни. Пропахли бесконечными перегонами щебня, пересекающими страну за страной и наконец выходящими в море. И, проехав над щебнем, поезда привозят в вокзалы запахи моря. Йодистый привкус моря, соленый дух моря, запахи чистой извести, мела, йода, разгульный запах штормов, горький запах безветрия, пресный запах свинцового неба. Синий гранитный дух моря и запах старых локомотивов, доставивших длинные поезда, полные щебня, в далекие порты. Запах огромных нагруженных щебнем судов, затонувших на дне…

И так многим пахнет, о чем нужно печалиться на вокзалах. Но о море печалиться нечего, и о небе, источающем над вокзалами йодистый запах моря, — и о солнце, гасящем на вокзалах горькую мокрую соль морскую…

Вот в полукруглых воротах — далеко, на другом конце зала, — вспыхнул свет, воротца исполнились светом, как восходящее солнце. И под крышей протянулись лучи: грязь на стекле купола, воспламенившись, наполнила светом зал. Их девять, этих лучей, протянувшихся там, наверху, — это магическое число. И в восходящем солн-

це, в конце вокзала, возникли, темно проступив в сияющем диске, три буквы, название крупного электрического концерна — Альгемайне Электрицитетсгезельшафт, — и победоносный знак дал свое имя восходящему солнцу… АЭГ.